

БИБЛИОТЕКА



ОГОНЁК

№ 10

1978



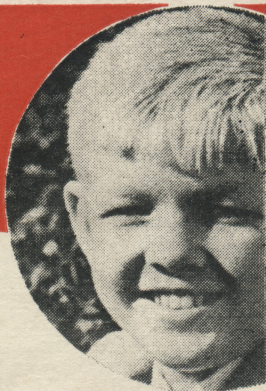
Олег ШМЕЛЕВ

РЕПОРТАЖ БЕЗ
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»



Папы и мамы, бабушки и дедушки, другие близкие родственники ребенка могут заключить **ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ ДЕТЕЙ**. Обусловленная договором страховая сумма будет выплачена застрахованным юноше или девушке по окончании срока страхования — при достижении ими восемнадцатилетнего возраста.

● Застраховать ребенка можно со дня его рождения. К моменту оформления договора страхования возраст ребенка не может превышать 15 лет 6 месяцев. Размер страховой суммы по одному договору (300, 500 или 1000 рублей) устанавливается по желанию лица, заключающего договор.

● Ежемесячные взносы доступны каждой семье, их размер зависит от страховой суммы и возраста ребенка на день оформления договора. Страховые взносы можно уплатить также единовременно за весь срок страхования по льготному тарифу.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ

Если Вас заинтересовал этот вид страхования и Вы хотите получить более подробные справки, а также заключить договор страхования, обратитесь, пожалуйста, к страховому агенту, обслуживающему Вас по месту Вашей работы или жительства.

Госстрах РСФСР

Олег ШМЕЛЕВ

РЕПОРТАЖ БЕЗ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1978

Олег ШМЕЛЕВ

Олег Михайлович Шмелев родился в 1924 году в Московской области. Работать в печати начал с 1941 года (в газете подмосковного города Электросталь). В 1942 году был призван на флот, затем служил в стрелковых частях Советской Армии. Участвовал в боях.

Демобилизовавшись в декабре 1945 года, в январе 1946 года поступил на работу в «Комсомольскую правду». С 1952 года — в редакции журнала «Огонек».

Рассказы и очерки О. Шмелева печатались в центральных журналах. Он автор нескольких книг: «Возвращение под огонь», «Двенадцать часов» и других. По книге «Ошибка резидента», написанной в соавторстве с В. Востоковым, на киностудии имени М. Горького поставлены фильмы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента».

В эту книгу вошли очерки и рассказы разных лет.

ДОКТОР РОМАШОВ

Говорить о хирурге, который хотел бы отвергнуть скальпель, странно и необычно. В самом деле, если брать медицину от ее зарождения как науки, то есть по меньшей (и не самой точной) мере со времен Гиппократы, то мы должны признать, что хирургия оказала человечеству большую, неоценимую помощь. И вдруг хирург без скальпеля, мечтающий обходиться без всякого хирургического вмешательства. Это звучит парадоксально и претендует на сомнительную оригинальность...

Но не будем спешить с выводами. Поговорим предметно о предельно конкретных вещах и об одном человеке, не претендующем ни на какую оригинальность и не любящем парадоксов в своей профессиональной области.

Федор Николаевич Ромашов, коммунист, декан медицинского факультета Университета дружбы народов имени Лумумбы, профессор, доктор наук, — прирожденный хирург. К настоящему времени он сделал более 10 тысяч операций. Первая из них относится к 1949 году, когда двадцатилетний студент третьего курса 2-го Московского медицинского института зашил травматическую рану на голове пациента 4-й Градской больницы. Там, в этой больнице, где Федор Ромашов проходил практику, был случай, когда в течение суток он сделал 26 операций, в том числе 11 по поводу аппендицита и 2 по поводу холецистита. Все операции были удачными. И обязан этим Федор Ромашов, парень с хутора Мартыновского, что в Новоаннинском районе, Волгоградской области, не только своим умелым рукам и врожденному дару, но и талантливым педагогам — профессорам Николаю Николаевичу Овчинникову и Алексею Андреевичу Бусалову, которым он будет вечно благодарен.

На каких образцах воспитывался доктор Ромашов, покажет хотя бы следующая история.

Однажды Николаю Николаевичу Овчинникову пришлось консультировать больного Б. А. А., который страдал весьма неприятным и запущенным недугом, поддающимся хирургическому лечению. Сама по себе операция не составляла для

Овчиннинского особого труда, но дело в том, что Б. А. А. шел уже 87-й год. Каждому ясно, что хирургическое вмешательство в таком возрасте сопряжено с большим риском. Никто бы, включая и самого больного, не осудил профессора, если бы он сказал: «Знаете, мой вам совет: жили вы со своей болячкой три десятка лет, проживете и дальше, а под нож ложиться ни к чему».

Николай Николаевич не опасался ни за свою профессиональную репутацию, ни за жизнь старого человека: он был уверен в своих силах и хотел помочь пациенту.

Б. А. А. прожил еще десять лет и умер на 97-м году не от последствий оперативного вмешательства. Родные этого доброго старика рассказывали мне, что он до последнего своего дня вспоминал Николая Николаевича Овчиннинского с неизменным восхищением — за его душевность и внимание.

В доказательство того, что Ромашов предан хирургии беззаветно, можно упомянуть еще несколько деталей из его жизни.

Он полгода прожил в Соединенных Штатах Америки, чтобы изучить положение дел в американской сердечно-сосудистой хирургии. Это было в 1962 году. В 1964 году Ромашов защитил докторскую диссертацию, которая называлась так: «Диагностика и хирургическое лечение аномалий развития межпредсердной перегородки».

И вот факт сугубо личного порядка. Как известно, по неписаному, но давным-давно утвердившемуся закону врачи, если их к тому же вынуждают безвыходные обстоятельства, никогда не лечат своих кровных родственников, вероятно, по той причине, что справедливо опасаются проявить необъективность, пристрастие. Федор Николаевич Ромашов не побоялся оперировать свою старушку мать, пенсионерку-колхозницу, приехавшую к нему в Москву с родины, из хутора Мартыновского (к месту будет сказать, что отец его, ныне тоже пенсионер, работал комбайнером). Не будучи суеверным и не боясь сглазу, он считает, что отдаленные последствия этой операции, подобно ближайшим, тоже окажутся благоприятными. Пример этот достаточно убедительно свидетельствует о степени веры Ромашова в возможности хирургии.

В общем, никто не может упрекнуть его в непоследовательности и недиалектичности.

А теперь поведем речь о Ромашове-хирурге без скальпеля. ...В больницу, где Федор Николаевич работает главным хирургом, поступил больной М. с диагнозом: бронхиальная астма. Случай был тяжелый, запущенный. М. лечился в разных больницах у разных врачей, перепробовал все средства и способы,

которые ему назначались, но астма прогрессировала. Врачи, пользовавшие М., в конце концов пришли к единодушному мнению: ему необходима операция на симпатических ганглиях, то есть на нервной системе. С тем он и лег в клинику к Ромашову.

Однако Федор Николаевич с хирургическим вмешательством не спешил. К тому времени у него накопился уже порядочный опыт лечения голоданием, причем от самых различных болезней и даже от привычки к курению табака.

Механизм лечебного действия голодания, если обрисовать его в самых общих чертах, сводится к тому, что организм, лишенный пищи, начинает «бросать в топку» собственные ткани и в первую очередь те, которые принадлежат очагу заболевания, от которых ему выгоднее избавиться как можно быстрее. Как все в природе, человеческий организм ведет себя наиболее простым и естественным образом. Прибегая к лечению голоданием, врач делает своим союзником целесообразность всего сущего в природе, могучий, несознаваемый разумом инстинкт самосохранения и колоссальные резервы нашего организма. Но, без сомнения, врач при этом не слепо полагается на естество, а направляет его, иначе какой-то процесс, раз начавшись, может выйти из-под контроля и привести к катастрофе. Вот почему медицина категорически восстает против любого самодеятельного лечения.

Чтобы направлять процессы, происходящие в организме, надо его досконально знать — как целое, неделимое. И тут возникает противоречие.

Сейчас во всех науках идет дробление, ветвление, и это понятно, ибо объем стремительно накапливаемых знаний в век научно-технической революции таков, что требует от ученых узкой специализации. Эта тенденция не миновала и медицину. Она давно уже разветвилась на множество узких наук — их перечень занял бы целую страницу.

Да к тому же, имея единую цель, служители медицины не едины во взглядах на методы ее достижения, что также не удивительно и не ново, поскольку еще в античные времена происходило то же самое, — достаточно назвать противоборство двух древнеримских школ: пневматиков, последователей Атеней, считавших источником телесных недугов расстройство душевных свойств и соответственно строивших свою систему и тактику врачевания, и методиков, веровавших только в диету и в холодную воду.

Разные школы по-разному толковали природу болезней. В Древней Греции, например, была школа на острове Косе,

приверженцы которой считали всякий недуг болезнью всего организма, а Книдская школа, наоборот, считала любую болезнь местным заболеванием.

Безусловно верно одно: не познав человека в целом, нельзя узнать ничего достоверного о функционировании отдельных его органов.

Объективно в современной мировой медицине складывается такое положение, что она по преимуществу основывается на устранении следствий, а не причин, то есть занимается ликвидацией симптомов, но не того, что их порождает. У человека, скажем, болит голова — ему дают таблетку анальгина. На два часа боль проходит, а затем появляется вновь. Опять таблетка анальгина — еще несколько часов приятной жизни, и так далее. Но нельзя же месяцами глотать анальгин и тройчатку, и вот страдалец просит какого-то более радикального лечения. Применяют электросон, советуют больше гулять на свежем воздухе — все ради того, чтобы излечить от головной боли. Но тщетно.

Наконец больной попадает на прием к опытному врачу, и тот буквально в пять минут определяет, что причиной недуга служит небольшая близорукость, на которую больной не обращал внимания. Окулист выписывает ему очки, и головная боль исчезает бесследно.

Так бывает всякий раз, когда изначально путают симптом с причиной.

...Федору Николаевичу в своей практике приходилось иметь дело с подобными случаями неоднократно, и они многому его научили.

В очерке о враче как-то неудобно писать, что правильное лечение возможно только при правильной диагностике. Но когда для постановки диагноза больному намереваются вскрыть брюшную полость — а Ромашову известны и такие варианты, — искусному диагносту это представляется, мягко говоря, недоразумением, а хирурга может повергнуть в невеселые раздумья и побудить его к мрачной шутке насчет того, что если уж дело дошло до вскрытия, то самый правильный диагноз поставит патологоанатом...

Сделав такое длинное отступление, скажем, что Федор Николаевич столь же сведущ в диагностике, сколь и в хирургии, и вернемся к астматiku М.

Ромашов отказался от операции и предложил М. лечение голоданием. Тот согласился. 37 дней он провел без единой маковой росинки. Только вода, сырая, из водопровода, но отстаиваемая по ночам. После этого великого поста к М. вернулось

давно им забытое легкое дыхание. Астма как бы растворилась. А Ромашов еще более укрепился в своем убеждении, что методы лечения, до недавних пор считавшиеся сомнительными и снисходительно именовавшиеся неканоническими, обладают реальной силой и достойны более серьезного к себе отношения.

Хирург, делающий в день две операции по поводу холецистита или опухоли желудка, не может не прийти к мысли, что неизбежность применения скальпеля возникает там, где кто-то из больных поздно обратился к врачам, кто-то из врачей просмотрел начало болезни, а кто-то неправильно лечил. Следуя логике вещей, такой хирург должен научиться избавлять человека от холецистита без посредства скальпеля. И не только от холецистита, ставшего угрожающе модным в двадцатом веке, но и от многих других болезней, которые в запущенном виде неизбежно требуют операции.

Так и поступил доктор Ромашов.

Автор этих строк был свидетелем и даже до некоторой степени участником истории, происшедшей с одним знакомым молодым человеком, который страдал заболеванием, относящимся к области проктологии. Несколькими годами раньше этому молодому человеку сделали классическую, давно разработанную операцию, и вдруг болезнь возобновилась, притом в еще более злой форме. Со времен первой операции он боялся хирургического ножа и потому долго не решался пойти к проктологам, которых знал прежде, долго мучился. Наконец, не выдержав, обратился к ним за помощью. Решение было безапелляционное: необходимо снова оперировать. Больной попросил отсрочки.

Однажды мы случайно разговорились на медицинские темы, и молодой человек, узнав, что я собираюсь писать о докторе Ромашове, заволновался. Оказывается, он слышал об этом докторе, ему рассказывали, будто Ромашов лечит травами чуть ли не от всех болезней.

Через несколько дней в руках у моего знакомого был список трав с объяснением, как их заваривать и пить. Но начать лечение ему удалось нескоро: чуть ли не месяц пришлось колесить по аптекам всей Москвы, чтобы собрать необходимый травяной комплект. Медвежье ушко, например, или кукурузные рыльца сыскать могут далеко не все страждущие.

Два месяца наш молодой человек пил травяной настой. Сейчас он совершенно здоров.

Был случай с одной молодой женщиной, которой после родов произвели операцию по поводу мастита — вырезали полови-

ну правой груди. (Кстати, эту операцию многие хирурги почему-то считают чуть ли не пустяковой, наподобие аппендицита, и идут на нее не задумываясь.) После этого женщина заполучила целый букет болезней, которые лечили новейшими антибиотиками и другими сильнодействующими препаратами, но безрезультатно. А вылезлась она травами...

Так открылась мне еще одна сторона искусства врачевания, которым владеет Федор Николаевич.

При разговоре о фитотерапии — траволечении — мы вспомнили об отравительнице Локусте, услугами которой пользовались многие, в том числе недоброй памяти римский император Нерон. Вероятно, Локуста знала свойства растений намного лучше, чем ее современники. И, безусловно, хорошо понимала, что почти каждая травка может быть одновременно и целебной и смертоносной, в зависимости от дозы. Действительно, травки, как и любые синтезированные химиками неорганические медикаменты, — палка о двух концах, и лечиться ими самостоятельно, без врачебной рекомендации и контроля очень небезопасно.

Непреложность этого правила ясна настолько же, насколько неоспорим закон, гласящий, что любому способу лечения необходима проверка временем.

Золотая мечта Федора Николаевича — нечто вроде института народной медицины, в стенах которого нашло бы место сочетание старой медицины и новейшей.

Что касается скальпеля, то Ромашов придерживается такого мнения: идеальным было бы положение, при котором хирургическое вмешательство оставалось бы неизбежным лишь для гнойного аппендицита и травм. Но это пока чистая утопия.

У него свой взгляд и на систему питания, который он никому не навязывает, но считает правильным. О многом говорит и распорядок дня Федора Николаевича:

6.00 — подъем.

6.00 — 7.30 — гимнастика и водные процедуры.

7.30 — отъезд в больницу (путь далекий).

9.15 — утренняя врачебная конференция.

9.30 — 10.00 — обход.

10.00 — 14.00 — операции.

14.15 — смотрит больных.

16.00—20.00 — медицинский факультет Университета дружбы народов (на противоположном конце Москвы), где учатся 670 студентов из 87 стран (есть и советские студенты).

В университете — текущие дела факультета (в том числе и разбор заявлений, вызывающих добрую улыбку, наподобие

следующего: «Я Э. Д. студент группы МЛ-15 прошу Вас разрешить меня пойти на урок биологии прошлой раз 4.3.76 я пропустил этот урок за причиной, что я проспался». Как видим, студент Э. Д. еще не очень хорошо освоил русский язык, но зато стремится наверстать упущенное, а значит, добросовестно относится к учебе, и, конечно, Федор Николаевич просьбу его удовлетворил). Кроме всего прочего, лекции: Ромашов заведует к тому же кафедрой госпитальной хирургии.

Домой Федор Николаевич редко возвращается раньше девяти часов вечера. Работает он и по субботам.

— Аскет! — могут сказать иные.

— Нет, — скажем мы, — просто труженик.

По принятому стандарту, без которого в разговоре о врачах не обойдешься, нам полагается еще напомнить, что для лечения людей одного профессионального мастерства недостаточно. Но об этом лучше сказать устами читательницы Р. из Самарканда, которая прислала автору длинное письмо и просила рассказать о докторе Ромашове. Вот выдержки из него:

«В жизни мне часто приходится встречаться с медиками. В большинстве своем это отличные люди, хорошие специалисты. Но все же неизгладимый след в моей душе оставила встреча с профессором, хирургом Федором Николаевичем Ромашовым. Есть выражение «память сердца». Так вот это как раз тот случай. Здесь не только память сердца, но и память в сердце.

Трудное детство в военные годы не прошло бесследно. Уже к концу 10-го класса у меня был четко выражен порок, врачи называли его почему-то «студенческим», говорили, что его можно демонстрировать в аудиториях.

Шли годы. Порок мой крепчал, а я слабела. Потом врачи стали поговаривать об операции, но я упорно отказывалась, надеясь на какое-то чудо. Чудо не приходило, а состояние ухудшалось. Я стала терять сознание и падать. Однажды при таком падении ударилась о что-то острое и глубоко разрежала щеку. Надо было срочно что-то предпринимать. И вот я в Москве, лежу в светлой палате. Волнений и страхов было столько, что теперь даже стыдно вспоминать.

День за днем я наблюдала, как работает Ф. Н. Ромашов, как относится к людям, и все больше проникалась глубоким уважением к нему.

Рабочий день Ромашова начинается в 8.30. В коридорах хирургического отделения клиники он появляется одним из первых, а через несколько минут уже торопится узнать о состоянии оперированных.

Могу рассказать об одной операции профессора Ромашова. Приготовлена больная. После тщательнейшего мытья рук надеты перчатки, маска. Можно приступать. Тонкие, длинные пальцы затянуты резиной, и под ней чувствуется гибкая, сильная рука хирурга. Под маской почти не видно лица, только бархатисто-черные глаза. Женщина, которую предстоит оперировать, уже немолодая — ей за пятьдесят. Профессор берет скальпель.

— Время? — обращается он к кому-то.

— Десять часов пять минут, — отвечает женский голос.

Операция на сердце началась. Профессор делает первую надсечку.

Вскрыта грудная клетка, вот уже видно сердце. Теперь действия должны быть предельно четкими. Почти сухие тампоны летят в таз.

Рассекается сердечная сумка, мышца. Ловкое, точное движение, и святая святых в руках у профессора.

— У больной в сердце тромб, чувствую его хвост, — спокойно произносит Ромашов. — Зажимайте сонные артерии, — подает он команду.

Секунды тянулись томительно долго... Операция подходила к концу. Вот и наложен последний шов.

— Время? — спрашивает Ромашов.

— Десять часов пятьдесят минут, — ответил тот же женский голос.

Вся операция на сердце выполнена за 45 минут! Поразиительно виртуозно и красиво было каждое движение хирурга.

В Федоре Николаевиче слиты воедино талант хирурга, проныцательный ум руководителя, вдумчивость воспитателя и человечность человека.

Помнится мне, как однажды через несколько дней после операции у одной больной открылась рвота. Я вбежала в кабинет профессора. Он был уже в костюме, собирался уходить.

— Федор Николаевич, Нину рвет! — с порога выпалила я.

Он тут же протянул руку к халату и без лишних расспросов направился к двери. В тот день Ромашов покинул больницу очень поздно, пока не убедился, что состояние больной пришло в норму.

В другой раз я встретила его в коридоре уже часов в десять вечера.

— Больного навещал, — объяснил он свой поздний визит, — теперь ему лучше.

И таких случаев можно вспомнить десятки. В ночь после моей операции он звонил несколько раз, справляясь о состоянии оперированных.

Выписываясь, каждый больной заходил в кабинет к Ромашову за «рекомендациями», как он их сам называет. Федор Николаевич обычно рекомендует травки, которые надо принимать пациенту, диету, гимнастику. Сердце мое после операции заметно окрепло, и теперь я чувствую себя отлично. Как-то вскоре после операции, уже дома, в Самарканде, мне стало хуже. Я тут же позвонила в Москву Федору Николаевичу. Хорошо помню, что разговор наш состоялся в четверг, а уже в воскресенье я получила от него бандероль с необходимыми травами.

Любовь к людям — это основная черта Федора Николаевича Ромашова, это тот критерий, который определяет все его поступки, все его дела. Забыть его доброту, пренебречь его советами невозможно. Я поддерживаю связь со многими, с кем судьба свела меня в клинике за эти годы, и никто не отказался от советов Федора Николаевича, все выполняют их очень четко и точно.

Много труда, сил и энергии отдает профессор Ромашов своему любимому делу. Где слышится стон и мольба о помощи, туда спешит наш милый, добрый доктор. Люди за это платят ему глубоким, искренним уважением и даже любовью. Федор Николаевич относится к категории тех людей, которые не могут жить в покое, они всегда в самом центре бурной, кипящей жизни».

Тут ни убавить, ни прибавить.

Конечно, в письме явно чувствуется восторженность тона, но это понятно и простительно: ведь пишет человек, исцеленный Федором Николаевичем. Менее всего мне хотелось бы сочинять панегирик Ромашову — доктор в нем не нуждается, но не присоединиться к словам читательницы Р. просто невозможно. И все же прибавим: всякая наука, как и любое полезное человечеству дело, развивается беззаветно преданными ей людьми, их подвижническим трудом.

ДВЕРЬ ОТКРЫТА ВСЕГДА

Рассказ Акима Никитича Золотухина

Великовозрастный студент

В 1930 году, когда мне было уже тридцать восемь лет, я поступил на медицинский факультет Воронежского университета. Со стороны такой шаг казался, пожалуй, легкомысленным: у нас с женой к тому времени было уже трое ребятишек,

а зарабатывал я один. Товарищи мои по Ястребовской районной больнице в родной Курской области, где я служил фельдшером, так и говорили. Но посоветовались мы с Варварой Васильевной и решили: как-нибудь перебьемся, я в Воронеже вечернюю работу найду, что-нибудь да подработаю. Ну, конечно, семье придется поясок потуже затянуть на пять лет.

Переступил я порог университета с холодком в спине. сумею ли, думалось, одолеть эту высокую гору? Меня терзал сомнениями вопрос, который по нынешним временам звучит странно и даже несколько диковато: «Может ли фельдшер стать врачом?»

Этот вопрос поставили еще задолго до семнадцатого года чиновники от медицины, и они же отвечали на него решительно: «Конечно, нет!» Ведь кто шел в фельдшеры? Простолюдины, мужики. А какой же из мужика врач?! Что вы, помилуйте.

И после семнадцатого года часть профессуры в медицинских институтах долго продолжала считать, что никогда из фельдшера не получится настоящего врача.

Я окончил Курскую фельдшерско-акушерскую школу во время мировой войны, а в армии, в 315-м Глуховском полку, служил военфельдшером роты. И этот, если можно так выразиться, комплекс фельдшерской неполноценности, второсортности в меня крепко въелся.

Но среди студентов-медиков я увидел очень много себе подобных. На первый курс поступал народ немолодой, уже потрудившийся, обкатанный жизнью. Безусых юнцов и восемнадцатилетних девушек со школьной скамьи можно было по пальцам сосчитать. Я воспрянул духом.

Мы, великовозрастные студенты из фельдшеров, вгрызались в гранит науки с остервенением. Мы хотели доказать, что дореволюционный профессорский вопрос насчет фельдшеров — поганая кастовая выдумка и его пора снимать с повестки дня. Лишним было бы говорить, что учились мы не из-под палки, а сознательно, вполне отдавая себе отчет в трудности избранного пути.

Год шел за годом, семестр за семестром. Дни моей жизни были похожи один на другой, как ступени лестниц в нашем университете: днем учеба — на лекциях, в анатомичке, в больничных палатах, вечером работа — на фабричном медпункте, по ночам долгое, до ряби в глазах, сидение над учебниками. Когда медицинский факультет выделился из университета в самостоятельный институт, ничто для меня не изменилось в этом распорядке. Но к тому времени сильно начал меняться я сам в чисто физическом смысле: стал худеть не по дням,

а по часам. Ночью раз по десять просыпался в холодном липком поту. Подняться на второй этаж без остановки стало непосильной задачей. Очень остро ощутил я тогда, что значит «тает, как свеча».

Пошел на рентген. Старичок рентгенолог нарисовал на бумажке размером в ладонь два моих легких и в одном из них обозначил точками созвездие, похожее на ковш Большой Медведицы, только без ручки. Обычно рентгенологи не говорят пациенту, что они там у него увидели — об этом они сообщают лечащему врачу, — но я ведь сам был без пяти минут врач, поэтому мне можно было сказать все прямо. И он сказал:

— У вас, дорогой мой, туберкулез, с чем вас и не поздравляю. Очаги-с! И довольно неприятные.

В амбулатории врач, выслушав и выстукав мою грудь, окончательно доконал меня:

— Дела серьезные. Вам следует лечиться. Питание. Воздух. Никакой работы, никаких занятий.

Выписал он мне лекарства, но я даже не заглянул в рецепт: не было в то время мало-мальски действенных лекарств против туберкулеза, я это знал и на сей счет не обольщался. Питание! Продукты выдавали по карточкам. Хлеба вволю не ели.

В общежитие пришел я разбитый, с серым лицом. Мой дружок, сосед по койке Адам Статкевич (он потом работал главным врачом районной больницы на станции Поныри) посмотрел на меня с интересом, как на незнакомого, и спросил:

— Ты чего это?

— Ничего, Адам, — говорю. — У меня туберкулез, очаговый. Лопнул мой институт.

Он неожиданно рассмеялся. Потом загремел на весь этаж:

— О, о, посмотрите на него! Спешите посмотреть, а то он сейчас умрет! Эх ты, homo, эх ты, человече!! Да мы тебя вылечим — в духовом оркестре на контрабасе играть будешь!

Я слушал его хмуро. Адам замолчал, подумал и быстро выдвинул из-под кровати свой сундучок. Достав из него большую банку и бутылку, он сказал теперь уже другим тоном, тихо и ласково:

— Во, погляди. Тут целая банка меду, а тут бутылка масла. — Он поставил банку и бутылку на стол, погладил их. — Родичи прислали. Мед засахарился, но все-таки мед. Съешь — здоровый будешь.

Тут другие друзья набежали. Узнав, в чем дело, принялись меня успокаивать.

Институт я не бросил, работу тоже. Не знаю, что тут подействовало: Адамовы мед и масло или сосновые иглы, приносимые из леса, из которых я делал отвар — витамин С. Но только вскоре почувствовал себя лучше.

Так и доскрипел до выпускных экзаменов, сдал их и получил диплом врача. Грустно было расставаться с институтом, с друзьями-однокашниками, но всех нас ждала работа, и новопеченные врачи разлетелись в разные стороны стремительно и радостно, как птицы из садка...

Покидая институт, мы клялись отдать все наши силы и знания любимому делу, людям.

Когда я получил диплом, мне было сорок три года. Я поехал в Курск и попросил областные органы здравоохранения послать меня на работу в деревню. Мне дали любянский врачебный участок в Медвенском районе.

О врачах и о грачах

Мелкой рысцой трусит лохматая лошаденка, заиндеветшая так, что и не разберешь, какой она масти. Розвальни без скрипа катятся по наезженному большаку, темному от вмерзших в укатанный льдистый снег конских яблок и соломы. Нет-нет да и налетит, напомнит, что стоит вьюжный февраль, пронзительный ветер, вихревой, закрученный штопором. Он буравит насквозь и овчинный тулуп и ватное пальто и остро колет в спину, в бока. Через темную дорогу начинают перебегать бесконечные белые змеи поземки. Возница, маленький, весь такой ладный и молодо подтянутый старичок, разбирает залубеневшие на морозе вожжи, привстает на коленках.

— Эй, ходи-и! — задорно кричит он тонким голосом.

Лошаденка прядает ушами и прибавляет ходу.

— Значит, давно уехал ваш доктор? — спрашиваю я, продолжая наш разговор.

— Да мы, верно слово, уж и позабыли! — весело отвечает возница, оборачиваясь ко мне. Лицо у него по усам и бороде в хрустальных сосульках.

— А чего это он вдруг уехал?

— Да ведь говорится: рыба ищет где глубже! — все так же весело кричит старичок.

В голосе его нет осуждения, но он все-таки из деликатности находит нужным оправдать того, о ком мы говорим:

— Да и то сказать: деревня сторонняя, глушь. Один воздух. Ни тебе чайной, ни баранок. Это мы привычные, а городскому человеку...

Он смотрит на меня так, будто хочет сказать: вот видишь, милоч, мы чужих людей за глаза не охаиваем, не бойся. Политичный старичок! Видно, уверен, что и я вскорости подамся восвояси.

Поземка неожиданно кончилась, ветер стих. Дорога пошла на изволок, и мы выехали на невысокий берег замерзшей реки. Старичок ткнул рукавичкой в сторону противоположного берега.

— Эн, гляны! Эн, тополь грудится, а под ним красен дом. Приехали!

Дорога привела нас под самые окна больницы. Пока возница укрывал лошадь старой, дырявой мешковиной, а я, соскочив с саней, разминал ноги, из-под крытого, низко нахлобученного крыльца больницы вышли двое — один пониже, другой повыше, оба в белых халатах.

— Здравствуйте! — приветствовал их я.

— Здравствуйте! С приездом! — не то хмуро, не то просто серьезно отвечали они.

— Будем знакомы, — сказал я, подходя. — Золотухин Аким Никитич. Назначен к вам врачом.

— Григорьев, фельдшер, — отрекомендовался, пожимая мою руку, один.

— Фельдшер Еськов, — сказал другой.

Они помогли мне вынуть из саней чемодан, свернутый в скатку матрац с одеялом и подушкой в середине и мешок с мукой весом в пуд — бесценный дар председателя Медвенского райисполкома. (Еще он выдал мне десять пудов картошки, но их я до поры оставил на складе.)

— Вы один, без семьи? — спросил как бы между прочим Еськов.

— Пока один.

Еськов и Григорьев обменялись понимающим взглядом.

— Мы вас проводим в дом?.. — полувопросительно и довольно равнодушно предложил Григорьев.

Дом, предназначенный для врача, стоял рядом, в десяти шагах. Кирпичный, с высоким крыльцом, он выглядел крепким, добротным. Внутри было просторно. Сенцы, кухня, небольшая прихожая и четыре жилых комнаты. В одной из них стояла железная кровать. Печь была протоплена.

— Чаю хотите? — спросил Еськов.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Сначала посплю.

Они ушли. Я развязал холодный с улицы матрац, кинул его на кровать. Кое-как застелив, разделся и лег. Засыпая, по-

думал, что непременно надо побыстрее перетаскивать сюда всю семью, в ближайшие же дни...

Утром, позавтракав кое-чем, достал свой халат, старый, еще студенческий, но хорошо выстиранный женою, облачился в него, накинул сверху пальто и пошел в больницу.

Глазам моим предстало зрелище не из отрадных. В трех комнатах стояло восемь коек. Ложа, на которых возлежали больные, были сделаны со спартанской простотой: вместо досок нечто вроде матов, сплетенных из прутьев (видно, разобрали где-то плетень), а поверх них — жидкие соломенные матрасики. И все.

Под той же крышей помещалась так называемая амбулатория. Она состояла из приемной и перевязочной.

— Много приходит на прием? — спросил я Еськова (была его очередь дежурить).

— По-разному. Бывает пять, бывает десять душ.

Я удивился:

— О, мало! Значит, редко болеет народ.

Еськов неопределенно пожал плечами.

— Оно как сказать... Домашними средствами пользуются.

— Это как же?

— Известная вещь. Кто к бабкам ходит, кто еще как.

— А к вам, значит, предпочитают не ходить? — спросил я беззлостно.

— Что мы, что мы! — не в тон ответил Еськов. — Мы фельдшера, с нас взятки гладки.

— Но были же врачи здесь?

— Были, да сплыли. — Он откашлялся и добавил смущенно: — Извините, конечно. Они у нас подолгу не задерживаются.

Картина была ясна. Следовало братья за все это...

Я с головой ушел в больничные дела. И скоро увидел, что и Еськов с Григорьевым, и сестры, и санитарки — в общем все будто встряхнулись, как после вынужденной спячки. Настроение в больнице поднялось.

Немного огорчил меня лишь один, невольное подслушанный разговор. Как-то, закончив работу, я пошел домой, но у двери задержался: обратил внимание, что ручка прибита очень неудобно, у самого края. Соображаю, на сколько сантиметров ее подвинуть, и слышу в соседней комнате, где остались фельдшеры, такой разговор.

Еськов говорит:

— Взялся новый-то за гуж обеими руками.

А Григорьев отвечает:

— Погоди, свою порцию грачей съест и уберется.

Насчет грачей он говорил по старой, еще дореволюционной памяти: в голодные годы кое-кто из местных жителей не брезговал этой птицей. Мне стало горько оттого, что они не верят мне. Не верят, что я останусь, не убегу, хотя я к тому времени уже перевез в Лубянку всю семью — жену и троих ребят: Николая, Евгения и Александру.

Да-а, на хорошенький лад мысли настроили здешних людей заветные деятели с дипломом врача в кармане!

Но обижаться было некогда.

Чрезвычайное происшествие

Однажды — уже пришла весна, начались работы в поле — веду я, как обычно, амбулаторный прием. Записалось человек двадцать.

Прием уже подходил к концу, когда в комнату вошла старушка в белом платке, со скорбным лицом. Она робко остановилась в дверях и ждала, когда я подниму голову.

— Садитесь, бабушка, — пригласил я ее, откладывая в сторону очередную карточку.

Она подвинулась на шаг и сказала:

— Я не за себя пришла... Вот какое дело... Сынок занедужил.

— Да вы проходите, садитесь.

Старушка села на краешек табуретки, положила свои темно-коричневые, узловатые, наработавшиеся вдоволь руки на колени, ладошками вниз.

— Что же с вашим сыном? Сколько ему лет?

— Годов-то? — Старушка смутилась. — Уж я и забыла... Надобно сосчитать... Вроде бы тебе ровня, по обличью-то.

— А что у него болит?

Она справилась наконец со смущением:

— Жар у него. Соседка говорит, лихорадка. А я так-то по-сидела, подумала: откуда ей быть, лихорадке? Комаров нету: рано комарам. А он прошлую ночь бредил, на ноги вскакивал. А зову — не слышит.

— Давно это у него?

— Да не соврать, третьего дня...

Я хотел спросить, ставила ли она градусник, измеряла ли температуру, но сам улыбнулся своей наивности.

— Ну что ж, поехали.

Старушка повезла меня на хутор Дунаец. Погода стояла дивная. Солнце. Небо над головой голубое, не затуманенное ни единым облачком. Озими зеленеют изумрудными квадратами

среди черных, глянцеви́тых, еще не обдутых до серой матовости клиньев свежей пашни. Хотелось дышать полной грудью.

Приехали. Нагнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку, вошел в избу. В горнице на парадной кровати, разметавшись, сбросив на пол лоскутное ватное одеяло, лежал человек. Лицо его было, как вареный бурак. Светлые короткие волосы влажны от пота.

Я достал из чемоданчика стетоскоп, градусник. Градусник сунул больному под мышку, прижав бессильную его руку к боку. Пощупал пульс — сто двадцать. Через пять минут градусник показал сорок и две десятых. Откинув рубаху с груди его, я увидел характерную сыпь.

Сомнений не было: сыпной тиф. И заболел не «третьего дня», как сказала старушка мать, а гораздо раньше. Просто он, кряжистый и могучий, долго крепился, не желая поддаваться болезни.

— Вот что, бабушка, — сказал я старушке, безмолвно стоявшей у меня за спиной и с надеждой наблюдавшей за моими действиями. — А никто больше у вас на хуторе вот так в жару не валяется?

— Как же! — отвечала она. — Семен ране моего захворал. Да у него и баба лежит и малый.

— А где он живет?

— Да через двор от нас как выйдешь — по праву руку.

— Я сейчас вернусь. — Захватив стетоскоп и градусник, я выбежал на улицу и направился в избу Семена.

Он и вся его семья лежали в тифу. А еще через час передо мною был убийственный в своей непреложности медицинский факт: на хуторе Дунаец больны тифом семнадцать человек...

Началась война с вошью, самая настоящая война. Я связался с райисполкомом. Нам выделили милицию, и она вместе с общественными уполномоченными держала хутор в осаде. Карантин был так строг, что никто, ни одна живая душа, не мог войти в хутор и выйти из него.

Наспех, по-кустарному сооруженные дезинфекционные камеры работали день и ночь, и дым от топок столбом поднимался к небу, как сигнал тревоги. Сестры и санитарки, похожие на бойцов противохимической обороны, ходили по домам с опрыскивателями.

На наше счастье, к тому времени заразный барак, который мы устроили на всякий случай, в предвидении неожиданностей, был уже почти готов. Райисполком разрешил нам разобрать и использовать по своему усмотрению дом бывшего помещика Звягинцева в деревне Зоринке, и это нам здорово помогло.

Все заболевшие были свезены в этот барак, и я из него почти не отлучался, разве только на злополучный хутор. Когда все остальные мои сотрудники освободились в Дунайце, они примкнули ко мне.

Семнадцать человек... Семнадцать раз мы все словно сжимались надолго и затаивали дыхание, ожидая, как пройдет у большого кризиса, чем он закончится.

В минуты коротких передышек я присматривался к своим подчиненным, и всякий раз хотелось от души позвать им всем руки и сказать что-нибудь хорошее. Няни, сестры, фельдшеры сами валились с ног от бессонья и усталости, но никто ни разу не пожаловался, не подумал о себе.

И труд наш был вознагражден: из семнадцати не умер никто, все поправились. Выписав и торжественно проводив последнего, мы продезинфицировали барак и заперли его на большой амбарный замок, в надежде, что открывать его нам больше не понадобится.

Когда уходили, я слышал, как Еськов сказал у меня за спиной санитарке Сане:

— Вот это по-нашему! Сразу видно: партийный. А Григорьев говорит: грачи-и!

Мне стало неловко до того, что даже глаза защипало. Хотел обернуться и объяснить им, что я беспартийный, но сообщил, что это будет выглядеть глупо. Махнув рукой, я зашагал прочь от барака.

Будни

Заботы у рядового сельского «пехотинца» (участковых врачей кое-где именуют пехотой) известные. Лечи простудные заболевания и хронические гастриты, принимай роды и думай о скарлатине и дифтерите, чтобы не забыть о прививках, выхаживай в стационаре больных пневмонией и туберкулезом, и так далее, и тому подобное. Все это врач в силу своей профессии принимает как должное. Но я с течением времени стал замечать, что в моей практике быстро накапливаются случаи, которые заносятся в графу «травмы». Это уже противоестественно.

Раз приходит молодой парень, колхозник. Показывает окровавленный указательный палец правой руки. Улыбается застенчиво. Осмотрел я рану.

— Чего же ты радуешься? — говорю ему. — Ведь палец-то у тебя раздроблен, одну фалангу отрезать придется. Как это случилось?

Не знаю, что уж его испугало: непонятное слово «фаланга» или мой ворчливый тон, — но он перестал улыбаться, побледнел и сбивчиво объяснил, где это его угораздило.

Работал на сеялке. Она засорилась, зерно перестало проходить. Он начал пальцем прочищать дырочки на ходу, ну и вот...

— А что, это так и положено — пальцем чистить? — спрашиваю.

— Да нет. Надо чистиком. Такая железная палочка с кольцом.

— Почему же ты им не пользовался?

— Потерялся он...

В другой раз является мрачный такой дяденька, кисть левой руки платком обмотана. Развернул платок, показывает ладонь — громадный нарыв на ней. Не помнит ли, с чего началось? Как же, все помнит...

— Навоз на той неделе от скотного двора возили. Ну, я, значит, день вилами помахал, а к вечеру, чую, саднит, ажно слезу выжимает. Ободралась шкурка на ладони. А утром пома-лу припухать начало...

Подобные вещи случались каждый день, а то и по два раза на дню. Посчитал я травмы за год и ужаснулся: более пятисот.

Пришлось вести долгую и упорную кампанию; чтобы на каждой сеялке обязательно был чистик, чтобы ручки у вил были гладкие, отшлифованные, чтобы бороны не валялись где попало вверх зубьями, а грабли не оставлялись в траве и не уподоблялись страшным капканам, поставленным на человека.

Председатели колхозов порою, когда мы особенно докучали им в связи с этим, не выдерживали, срывались с уважительного тона и переходили на тон сугубо, так сказать, деловой, но, однако, выполняли все «требования медицины».

Сами колхозники, даже те из них, кто считал эти докторские заботы просто детской забавой «от нечего делать», тоже помогали, и в конце концов мы свели количество травм за год с нескольких сотен до двух-трех десятков. И это заметно разгрузило нас для других ежедневных занятий.

Народу на амбулаторных приемах, к удивлению персонала, сильно прибавилось. Говорю «к удивлению», потому что все рассуждали так: раньше, когда работа шла хуже, больных было меньше, а теперь, когда, кажется, наладилось более или менее, их прибавилось. Непонятно!

Как-то разговорился я с фельдшерами на эту тему. Стали искать причину. Почему действительно прежде на приемах было по пять — восемь человек, а теперь тридцать — сорок? И выяс-

нили: потому, что раньше шли в амбулаторию лишь тогда, когда температура поднималась до тридцати девяти градусов, а сейчас идут, чуть появился насморк или с занозой в пальце. И мы пришли к выводу: значит хорошей славой пользуется наша больница. Не верили бы — не пошли. И хотя доверие это прибавило нам работы, но зато принесло и нечто другое, что гораздо желаннее для человека, чем личный покой и безмятежность...

А в 1939 году колхозники и работники нашей МТС избрали меня депутатом Курского областного Совета. Снова прибавилось забот. И опять это были заботы, которые принимаешь на себя с благодарностью к людям...

22 июня 1941 года меня вызвали в райвоенкомат. Я взял собранную женой сумку, попрощался со всеми своими и на больничной линейке поехал в Медвенку.

Во дворе стоит кол...

Весь ужас войны, если говорить в чисто личном смысле, выразился для меня в одном факте: я, пожилой, проживший солидную часть положенного мне срока, остался жив, а мой сын Николай, которому только-только открывался чудесный мир, погиб. Он был артиллеристом, офицером. Его убили 1 декабря 1943 года под Невелем, где он и похоронен. Второй наш сын хоть изрядно побит, но все же уцелел...

Случилось так, что меня сразу по мобилизации отправили далеко на восток, в город Улан-Удэ. Там, в глубоком тылу, готовилась база для лечения тяжелораненых. Меня назначили начальником госпиталя.

Не стоит ворошить те четыре года: тяжело вспоминать людские мучения, пропитанные кровью бинты.

В один из осенних дней 1945 года мое армейское начальство вызвало меня к себе и спросило: имею ли я желание демобилизоваться и вернуться в Курскую область. Это было странно. Я знал, с каким трудом отпускали нашего брата, и вдруг сами предлагают! Но тут же все разъяснилось: Курский облисполком прислал бумагу, в которой просил командование отпустить меня с военной службы на гражданскую работу. В бумаге говорилось о большой разрухе, оставленной войной. И была приложена петиция от граждан Медвенского района, жителей сел, входивших до войны в Лубянский врачебный участок. Тысяча человек подписала петицию. В январе 1946 года я приехал в Курск.

В облздравотделе предложили на выбор два места: больница в Обояни или большой санаторий под Курском. Но, сославшись на петицию, я попросил направления в Лубянку.

Меня встретили жена и дочка Шура. Они жили в нашем довоенном доме. Его война пощадила. Зато не пощадила больницу. Все было разрушено. Ни окон, ни дверей. Один каменный остов, а внутри гуляет ветер, наметает с улицы сугробики снега. В общем, как в присказке: во дворе стоит кол, на колу мочало, начиная все сначала.

Долго и, пожалуй, неинтересно рассказывать, как мы поднимали больницу.

Нужны были средства — их нам дало государство. Понадобились строительные материалы — райком партии и райисполком помогли. Оставалось только приложить руки. И я с благодарностью вспоминаю, как много потрудились тогда мои помощники: Гаврила Васильевич Машкин, отменный плотник и столяр, и мой однофамилец Гаврила Афанасьевич Золотухин, санитар. Оба были тяжело ранены на фронте: у Машкина сидела пуля в легком, а Золотухин остался без пальцев на обеих ногах. Но они никогда не жаловались на нездоровье. В феврале мы уже ввели в строй амбулаторию, а в марте — всю больницу.

Чтобы покончить с делами административно-хозяйственными и биографическими, скажу еще, что вскоре вернулся из армии сын Евгений и сразу же пошел учиться в Курский медицинский институт. Дочь поступила в фармацевтический техникум.

Колхозники очистили поля от металлолома, оставленного войной, он пошел в переплавку совсем на другие машины. Жизнь снова поднималась на пепелищах. Но было трудно, очень трудно!

ЩЕРБАКОВЫ ИЖОРСКИЕ

— Мишка-а! — разнесся по улице истошный женский крик. Издалека, с пустыря, где ребята, у которых водились монеты, с утра до темноты играли в расшибаловку, откликнулся недовольный мальчишечий голос:

— Чего-о?

— Иди лопать, басурман! Щи простыли!

И так каждый день, а то и раза три на день.

Володя Щербаков дивился: как это можно, чтоб тебя еще специально есть приглашали? Ладно, был бы Мишка работником, а то ведь у него мозоли на пальцах от медного пятака, которым

кон расшибают, весь день в эти расшибы режется, сопли вытереть некогда.

Нет, никак не мог понять Володя Щербаков ни Мишку, ни его мамашу с папашей. Другое у него было житье, которого Мишка, наверно, тоже не понимал.

Если бы даже у Володи завелись вдруг монеты в кармане, он бы на пустырь в Мишкину компанию все равно не пошел. И вовсе не потому, что жалко проиграть гривенник, и не потому, что побоялся бы батю или мать. Они бы и знать не знали, потому что мать работает нагревательницей печей в термическом цехе, а батя из своего литейного зала не уходит по неделям, и ночует там. Он хоть по должности называется начальником смены — значит, должен же когда-нибудь сменяться, — но это только так считается, а на самом деле ничего подобного. Придет он после недельного отсутствия, кое-как смоем с лица и рук верхний слой лоснящегося чугунно-черного покрытия — нижний въелся в кожу прочно, даже белого полотенца не марает, — поставит мать перед ним сковородку картошки, жареной на подсолнечном масле, и скажет: «Палыч, ты бы хоть разок забежал горячего поесть. Немолодой ведь, шестьдесят пятый идет». А отец ковырнет без интереса картошку вилкой — аппетита нет — и ответит: «Печи не остановишь. Нам стали много надо, ой, много». Полсковородки осилит, кружку кипятку выпьет (Володя ужасался: отец глотает кипяток, как простую воду, и не обжигается) — и на кровать. Даже сапог не успеет снять — уже храпит. Володя с матерью разденут его, и опять Володя удивляется: ворочай отца, как хочешь, — ничего не слышит, будто помер.

В общем, не из-за отца с матерью не ходил на пустырь Володя. Тут совсем другое.

Вот ему десять лет. Он 1925 года рождения. И в семье десятый. Братья Николай, Иван, Александр и Георгий намного его старше: Николай — на двадцать пять лет, Георгий — на тринадцать. Сестры Надежда, Клавдия и Вера тоже родились, по его понятиям, еще при царе Горохе. А Любу и Соню он старше себя не считает: подумаешь, всего разницы — три года и год.

И вот такая штука. Сколько помнит себя Володя, он маму считал вроде как бабушкой. Она уж немолодая и все время на работе или крутится по хозяйству. А матерями были для него, Любы и Сони три старшие сестры. Они, конечно, тоже все работали на Ижорском, но в разные смены, и получалось так, что в трех комнатах семьи Щербаковых с плотностью населения один человек на два квадратных метра всегда, в любой момент суток, имелась дежурная мама.

Когда явились на свет новые Щербаковы — младший братишка Сергей и племянники Володи, он сам сделался нянькой и опекуном для младших. Некогда ему бегать на пустырь.

Было бы непростительной натяжкой утверждать, будто, помогая сестрам при стирке белья или сажая братишку на горшок, малолетний гражданин Володя Щербаков сознательно исполнял некий долг. Он поступал с младшими так, как старшие поступали с ним. Никакой мудреной педагогики — только простой и ясный дух большой рабочей семьи, который уж не выветрится из человека до конца жизни, что бы ни случилось, ни в горькой беде, ни в тяжелой дороге.

Но это лишь чисто бытовая, если можно так выразиться, отделка характера. Для того, чтобы сложилась личность, необходимо кое-что гораздо более высокого порядка, чем семейный уклад.

Среди множества способов сталеварения есть электрический. Так вот, если сравнить его с процессом выплавки личности, то можно сказать: поле, в котором жил Владимир Щербаков, обладало сверхвысокой напряженностью.

Начать, конечно, надо с отца, и начало будет не новым. Отец отца, дед Владимира, был до объявления «воли» крепостным богатога тверского помещика. В 1882 году его сын, двенадцатилетний Алешка, бросил свой пастуший кнут и пошел искать жизни получше. На Ижорском заводе, куда он в конце концов — уже в 1890 году — попал, ни легче, ни лучше ему не стало, скорее наоборот. Зато горячее — в прямом и переносном смысле слова. Алексей Щербаков быстро осознал себя рядовым рабочего класса.

На заводе действовала нелегальная революционная ячейка. Алексей ходил на занятия кружка, все, что там говорили, впитывал, как губка, хотя был неграмотен. А вскоре и сам начал вести пропаганду среди рабочих — может, слишком прямолинейно, однако доходчиво. Долой царя и капиталистов — и чего тут еще рассусоливать?

Нашелся доносчик, Щербакова уволили и занесли в черные списки — ни на один завод не поступишь. Как он с женой и семьей детьми мыкался до семнадцатого года, трудно сказать. Куда уж дальше, если в 1912 году жена, едва родив последнего из семи, Георгия, пошла на Ижорский, да не кем-нибудь, а нагревательницей печей в термичку — работа для здоровенных мужиков, но никак не для кормящей матери.

Беспощадно бил контру красногвардеец Алексей Щербаков. Двух своих старших сынов — Николая и Ивана — послал воевать за революцию. Служили они у Буденного, в Первой Конной.

А когда наступил мир после гражданской войны, Щербаковы все возвратились на свой завод.

Шли годы, подрастали младшие сыновья и дочери, и такой порядок установил отец: учись в школе, сколько считаешь нужным, а оставил школу — давай-ка на Ижорский. Александр начал работу жестянщиком в шестнадцать лет, Вера пришла в трубный цех тоже шестнадцати, Георгий стал крановым машинистом в девятнадцать, Софья — фрезеровщицей тоже в девятнадцать, а Сергей и вовсе четырнадцатилетним мальчишкой выучился на газорезчика.

Не мыслили Щербаковы своей жизни без Ижорского завода. Как тысячи им подобных ижорцев, они не считали, что творят новую историю. Они работали без шума, без лишних слов, не ожидая наград и поощрений. Однако сильно ошибется тот, кто подумает, что им незнакома была рабочая гордость. В монастырской толщины стенах старого, поставленного еще при Петре Ижорского завода варилась сталь самых высших марок и редкой прочности.

Набирал силу завод — крепла, ветвилась семья Щербаковых. Николай редактировал заводскую многотиражку и был уже отцом трех сыновей. Иван, работавший печником, перешел на профсоюзную работу. Александр, бывший жестянщик, стал инженером-диспетчером, а потом его, как и Ивана, выдвинули в профсоюзные руководители. Вера пошла по партийной линии, работала в аппарате Ленинградского обкома.

Отец ворчал по поводу всех этих выдвижений: «От металла уходите. Белоручками станете». Он был неправ — белоручками они не сделались.

Сам Алексей Павлович и супруга его Елена Александровна никуда не уходили и не переводились. И в пенсионерах старому металлургу побывать пришлось недолго: последний раз сдал он смену — навсегда — в 1937 году, а в 1939-м скончался.

Пришла война. Гитлеровцы, рвавшиеся к Ленинграду, осаждали Колпино. Они, разумеется, отчетливо представляли себе значение завода и стремились либо овладеть им, либо уничтожить. Не получилось ни того, ни другого.

Рабочие разделились на две части. Одни, отличавшиеся здоровьем и помоложе, влились в Ижорский батальон и вступили в бой. Другие под бомбежками и артобстрелом продолжали обычное дело.

Отправились воевать старшие братья Владимира Щербакова. Николая зачислили в Военно-Воздушные Силы, был он политработником. Иван формировал аварийный поезд для ремонта железных дорог и мостов. Александр, как и Николай, попал

в ВВС, Георгий вступил добровольцем в Ижорский батальон, оборонявший город.

Из мужского состава Щербаковых старшим в семье остался Владимир. Его, куда он ни тыкался, на войну не взяли.

Слесарил слесаренок, старался. Привыкал к звенящему шороху снарядов в воздухе, к их разрывам на заводской земле, то визгливым, то басистым. И не хныкал, не стонал, потому что еще раньше приучился себя одергивать, если что не так: «Не стони». Никогда он не думал и не предполагал, что может вдруг заплакать.

...11 июля 1942 года ничем не отличалось от длинной череды дней, следовавших один за одним не очень-то спокойно и весело с тех пор, как немцы дотянулись своей железной лапой до Колпина. Мать, как всегда, ушла на смену в свой термический цех.

Володя не уловил в начавшемся артобстреле какой-то особенной жестокости. Вроде все шло обычным порядком, с немецкой методичностью. Но...

Он не мог поверить, когда услышал: «Александровну убило». Вернее, не мог понять сначала, что это говорят о его матери. Как же так? За что?

Только крови не было раньше в том скрепляющем составе, что спаял судьбу семьи Щербаковых с Ижорским заводом. Теперь была и кровь...

Вот какое силовое поле дало заряд душе и характеру Владимира Щербакова, сына тверского бедняка Алексея и потомственной колпинской жительницы Елены, убитой гитлеровцами в цехе, на рабочем месте.

В декабре 1942 года Владимир был призван в Действующую армию. Всего, через что пришлось ему пройти, кратко не расскажешь, но хотя бы об одном моменте упомянуть надо — в нем есть щербаковский характер.

Воинская часть, куда попал новобранец, рядовой необученный Щербаков, стояла под Синявином. Однажды в роту пришел лихого вида веселый офицер. Он выбирал желающих идти в разведчики. Ну, конечно, в разведку хотели все, так что у офицера выбор был богатый. Щербаков тоже шагнул вперед, но офицер, скептически окинув его взглядом с ног до головы, велел стать в строй: подрасти, сказал, мне нужны ребята покрупнее. Владимир не обиделся: знал, что в разведке особый народ нужен, чтобы в случае чего одними голыми руками, без выстрела, прихлопнуть противника.

Дня через два явился новый вербовщик — он набирал охотников сделаться саперами-минерами. На сей раз не очень-то много солдат вышло из строя, но Владимир был в их числе.

Его дружок, сосед по нарам, шептал ему, сделав страшные глаза: «Ты что, спятил? Не на чужой, так на своей подорвешься». Однако это не подействовало. Соображал Владимир, какую специальность себе выбрал, и поговорочку известную слышал насчет того, что сапер ошибается только раз в жизни. Но у него были свои соображения: он знал, что проходы для разведчиков в минных полях расчищают саперы — стало быть, не так, так эдак, а все же причастится к разведке.

Обучение было недолгим, но основательным, и к тому же, если человек помнит вдохновляющую поговорочку, он все типы мин и способы их обезвреживания очень быстро изучит.

Те ленинградские солдаты, кому выпало сомнительное счастье хоть неделю посидеть на передовой в Синявинских болотах, не забудут их до конца дней. С весны до осени это гладкие, как стол, зеленые поля. Если нужно отрыть окопчик, воткнет солдат в землю лопатку на штык — густая коричневая вода. В ходах сообщения и траншеях эта жижа по пояс. Надоест в мокроте хлюпать, выберется солдат на сухое место — и тут же пуля над ухом: снайпер не спит, лезь обратно в жижу.

Зимой то же ровное, как стол, поле, только зеленую скатерть заменили белой. Но даже в двадцатиградусный мороз под снегом — вода.

В общем, кто не пробовал, не поймет, да и хорошо, что не все пробовали, невеселое это дело.

В секторе, куда попал сапер-минер Щербаков, оказалось и того хуже: нейтралка была всего метров двадцать пять, так что если уж зазевался, тебя бьют в упор, наверняка.

А порядок какой?

Под вечер вызывает командир, скажем, троих минеров, объясняет: ночью к немцам пойдет поисковая группа. Иногда и ничего не объясняет, просто ставит задачу: в 22.00 проделать проход в минных полях, пропустить наших туда, а в 5.00, когда они вернутся оттуда, проход заделать. Сапер идет первым, возвращается последним.

Ну, схема своего заграждения известна, искать мины, как грибы, не надобно. Заграждения перед окопами противника — дело, понятно, совсем другое.

Можно сказать, Щербакову сильно везло. Не раз и не два вот так вызывал командир троих минеров, назначал его старшим и ставил задачу обеспечить проход большим и малым группам наших бойцов. А работать, между прочим, приходилось в десяти не фигуральных, а натуральных метрах от немецких траншей. Только во время первой операции потерял он своих товарищей: одному оторвало ногу, другому руку.

Владимир все ждал того дня — вернее, ночи, когда ему все же достанется поработать с разведчиками. И такая ночь наступила, темная сентябрьская ночь 1943 года.

Командованию потребовалось уточнить вражескую систему огня, расположение огневых точек. В таких случаях самый прямой и быстрый путь — разведка боем. Участвовать в ней может больше или меньше людей, но их задача — поднять такой переполох, чтобы противник принял разведку за неподдельное наступление и пустил в ход все свои огневые средства. Наблюдатели засекут их, и задача решена.

На бумаге все это просто получается, а на деле для разведки боем нужен самый отчаянный народ. И минер тут не последний человек.

Щербаков хорошо сделал все, что ему было положено, и еще сверх положенного: ввязался в бой. Так случилось, рассуждать было некогда.

Разведка кончилась благополучно, без больших потерь, но Щербаков получил тяжелое проникающее ранение — осколком гранаты в череп. Потом три месяца на госпитальных койках и на полках санитарных поездов. За тот бой его наградили орденом Славы III степени.

После подобных ранений, как тогда выражались, солдат списывали из армии по чистой. Щербакову еще в госпитале объявили, что он инвалид и что его демобилизуют. Но он не пожелал списываться. Он поправился и прослужил в армии до 1950 года, а пока шла война, еще побывал на фронте и был еще дважды ранен.

Не хотелось бы громких слов, но то надежное и нержавеющее, что выковалось в довоенные годы в характере паренька из рабочей семьи, война сделала еще прочнее. Когда-то он рос и неосознанно испытывал на себе всеобъемлющее влияние вечных тружеников — отца и матери, своих старших сестер и братьев, коммунистов. Такой заряд не исчезает и не пропадает зря.

Просто и ясно сложилась послевоенная жизнь Владимира Щербакова.

Он приехал в Колпино, обосновался у бабушки по матери, сразу поступил на Ижорский завод, в шихтовый цех, бригадиром огнерезного участка: резали, мельчили шихту.

Работал и учился в школе мастеров, после школы перевели в мартеновский цех, но и тогда не одной работой была занята голова: поступил в металлургический техникум. В 1953 году два важных события: Щербаков был принят в партию и женился на колпинской уроженке, в четырнадцать лет пришедшей на завод, и родители ее тоже на Ижорском.

Пришлось побывать Владимиру Щербакову и на комсомольской работе — инструктором райкома, но его тянуло на завод, и он вернулся. Конструктор, старший конструктор, начальник КБ отдела главного механика, заместитель главного механика — вот должности, в которых служил Владимир Алексеевич, но последняя, сегодняшняя, самая беспокойная, оставляющая человеку очень мало времени подумать о себе, — он начальник ремонтно-механического цеха. Если бы Щербаков еще в 1967 году не окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, сейчас ему получить высшее образование было бы едва ли возможно.

Иной раз шевельнется, так сказать, родительская совесть: не мало ли внимания дочерям уделял? Но, кажется, у них с матерью нет причин для беспокойства: обе дочери на правильном пути. Старшая, Марина, замуж вышла за рабочего парня, этим летом родила им внука и учится в институте, получает стипендию от завода. Младшая, Инна, — студентка того самого техникума, который когда-то окончил сам Владимир Алексеевич. А как она мыслит, им с матерью известно. Когда отмечалось 50-летие пионерской организации (Владимир Алексеевич вспоминал по тому знаменательному поводу, что его брат Александр был одним из создателей первых пионерских организаций), Инна в интервью газете «Ижорец» сказала: «Хочу быть в первых рядах молодежи в борьбе за мир на земле, участвовать в строительстве коммунизма, быть активным участником во всех делах комсомола». Не по подсказке говорила, а то, что на уме и в душе. Газету Владимир Алексеевич хранит.

Нет, нечего им беспокоиться за детей, если даже и не всегда уделяли им много специального родительского внимания. Не одни мать с отцом воспитывают — школа есть, завод, комсомол. А коли брать весь род Щербаковых, то внуки и правнуки их всегда будут жить под воздействием самой животворной силы — примера прадедов, дедов и отцов.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Рассказ о нынешнем Степане Давыдовиче Климанове заманчиво начать с того момента, когда он, войдя в некую комнату в некоем шумном доме, увидел на платяном шкафу и на стене рядом со шкафом брызги еще не застывшей крови. Было бы хоть и страшно, но зато выигрышно для автора. Да и многие строчки из биографии Климанова сами наводят на мысль о детективной завязке.

Однако нет. Натура этого человека такова, что любая искусственность в рассказе о нем выглядела бы грубой натяжкой. Как он попал в ту комнату и чем разрешился его приход, Степан Давыдович поведает несколько ниже сам. А чтобы понять обоснованность и естественность всего дальнейшего, мы прежде должны прошагать по лестнице его жизни — хотя бы через ступеньку...

Первое отчетливое воспоминание детства: долгожданный тятка вернулся из Питера в родное село Попадьино. Стоит на пороге их ветхой избы, смотрит на ободранного, босого, голодного Степку виноватыми глазами и тяжело вздыхает.

Давыд Климанов уехал в шестнадцатом году с Рязанщины в столицу, поступил к Гужону, чтобы заработать на прокормление семьи. Как ее прокормишь, когда детей — восемь душ? А тут жена умерла, пришлось вернуться. И что ему теперь делать с мальцами?

Было это осенью девятнадцатого. Степке шел тогда пятый год.

Трудно было Давыду Климанову. А тут прошел слух, что на Украине жизнь сытая. Заколотил он дом, и подались они с толпой односельчан на Украину. Кое-как добрались до Полтавы. По дороге и милостыню просить приходилось.

А в Полтаве Степка потерялся, отстал от своих. Как это получилось, он не помнит, знает только, что сняли его с маневрового паровоза, у теплого бока которого грелся он вместе с беспризорными. Сняли какие-то люди в шинелях, привезли под Москву, в Щелково, а там добрые ткачихи разобрали замызганных ребятишек по домам.

Только через два года нашел Степку отец, который к тому времени вернулся с детьми в Попадьино, начал понемногу обживаться, благо старшие уже на ноги становились.

...Второе яркое воспоминание — школа, а вернее, учитель этой сельской четырехклассной школы Иван Константинович Теологов. Наверное, оттого, что учитель был душевно ярким человеком, Степан Климанов именно с тех пор помнит по имени каждого, с кем его сталкивала судьба: он уже тогда почувствовал, что любой из людей — личность неповторимая, хотя, конечно, не отдавал себе в этом отчета.

В двадцать девятом году весной в селе у них организовался колхоз, и Давыд Климанов вступил в него. Степан работал вместе с отцом. С трех до восьми в поле, а в восемь Степан убегал в школу.

В день окончания Теологов задержал Степана в классе, спросил, когда все другие вышли: «Что дальше делать думаешь?» «Не знаю. Работать буду», — ответил Степан. «Тебе бы учиться надо», — сказал, похаживая вдоль доски, Иван Констан-

тинович. — Давай вот что попробуем... Напиши заявление, пусть колхоз отпустит тебя на учебу, поедешь в Михайлов, в педагогический техникум, тебя примут». Он тут же и продиктовал Степану это заявление. На колхозной сходке получился спор не спор, а небольшая стычка с дядей Павлом, сельским богатеем, кулаком. Тому обидным показалось, что колхоз собирается послать на учебу климановского босяка, а не его сына Ванюшку. «Мой Ваня не хуже Степки учился, почему не всем одна честь?» — кричал он. Степан сам ему ответил, не дожидаясь, пока там кто-нибудь вступится. «Дядя Павел, ваш Ваня до восьми спит, а я с тяткой в три уже на работе». Собрание проголосовало послать Степана Климанова на учебу в Михайлов.

...Окончив техникум в 1932 году, Степан приехал в Москву, где обосновались к тому времени его старший брат и сестра. Но места преподавателя тут, как и в родных краях, не нашлось. Степан поступил на первый ГПЗ — Государственный подшипниковый завод — полировщиком, полировал подшипники. Весной тридцать третьего стал комсомольцем, а осенью того же года его вместе с семьюдесятью такими же молодыми ребятами вызвали в заводской комитет комсомола. Секретарь, конечно, только для формы задал вопрос: «Кто хочет работать на Метрострое?» Все тогда хотели там работать. Выбирали лучших.

Степан попал на шахту № 15, которая вела проходку на трассе площадь Дзержинского — Кировские ворота. Работенка была, прямо скажем, не из легких и не для слабеньких. По сравнению с теперешними тогдашние метростроевцы по части техники были оснащены слабо. Но каски, резиновые куртки и брезентовые штаны были столь же символическим и почетным одеянием, как ныне скафандр космонавта.

Летом тридцать четвертого Степан получил телеграмму из Попадьина: умер отец. На похороны его, конечно, отпустили. Схоронили отца, помянули, а дня через два, когда Степан прикидывал, как поскорее добраться до железной дороги, чтобы вернуться в Москву, зашел к ним в избу работник политотдела Захаровской МТС и без всяких предисловий говорит: «Слушай, Степан, Москва без тебя не пропадет, а нам с комсомолом дело налаживать надо. Может, останешься?» Он решил остаться, только съездил в Москву, оформил увольнение. Начал работать помощником начальника политотдела по комсомолу. Вскоре женился.

Год пролетел незаметно. В тридцать пятом, когда родился у них с Любой первый сын, Владимир, райком комсомола послал Степана учиться в Рязань, в областную совпартшколу имени Ленина. Вернулся — назначили в федоровскую школу, преподавал историю и был старшим пионервожатым.

Март тридцать шестого резко повернул судьбу Степана Климанова: его призвали в армию, и попал он во 2-ю Белорусскую краснознаменную дивизию имени Фрунзе в Минск, и зачислили его в подводники-разведчики — была в ту пору такая воинская специальность. Потом учился на пулеметчика.

В партию вступил он после годичного кандидатского стажа в 1939 году. А дальше биографию Климанова писала война.

...Зима сорокового, Финский фронт. Пулеметная рота, где политруком Степан Климанов, прикрывая отход полка, попала в окружение. Политрук ранен в грудь, но из строя не вышел. Мороз под тридцать. Четвертые сутки отбиваются, заняв круговую оборону, бойцы-пулеметчики. Еды ни грамма. Заснешь — не проснешься, замерзнешь... И ползет политрук от расчета к расчету, тормозит бойцов: «Не спать, не спать!» Плохо кончилось бы дело, если бы на пятые сутки их дивизия не пошла в наступление.

...Август 1941-го, жаркий, пыльный, изнуряющий август под Таганрогом. Танковые клинья немцев рубят и терзают наш отходящий к предгорьям Кавказа фронт.

28-я стрелковая дивизия, в которой служит политруком зенитно-пулеметной роты Климанов, с марша брошена в бой, чтобы закрыть брешь на Миусе. Но что сделаешь танку пульей? Противника они не остановили на том рубеже. По машине с пулеметными установками, в кузове которой командовал расчетами политрук, танк ударил из пушки метров с двухсот. Осколок вырвал Климанову кусок мышцы в левом бедре. Как попал в медсанбат, не помнит, много крови потерял, да и контузило, был в полубреду.

Лечился в Ереване. Из госпиталя снова в часть, а потом ускоренные высшие стрелковые курсы, и после этого старший лейтенант Климанов уже воевал командиром пулеметной роты. Форсировал Днепр. Был еще дважды контужен и в третий раз ранен. И в сорок четвертом году признали его ограниченно годным. 2-й Украинский фронт ушел на запад, а старшего лейтенанта назначили в райвоенкомат города Заставны, и по роду службы должен он был еще исполнять и обязанности коменданта.

В Заставнах произошла запомнившаяся навсегда встреча.

По пути к родным границам через город проходила бригада полковника Людвика Свободы, будущего президента Чехословацкой республики. В Заставнах бригаде был дан короткий отдых, и Климанов, как комендант, отвечал за порядок и спокойствие. Тогда в тех местах бандеровские бандиты действовали нагло, а у коменданта в распоряжении имелось всего человек

пятьдесят бойцов. И, между прочим, патронов считай что вовсе не было: где-то там в арснабжении заело с доставкой.

Пошел комендант к командиру бригады — представиться. Полковник Свобода — человек простой. Это Климанов сразу понял и не постеснялся попросить у комбрига помощи. Свобода распорядился выделить для гарнизона города Заставны четырнадцать тысяч патронов.

В сорок шестом Климанов уволился из армии: ограниченно годных не держали.

Понравился ему город Черновцы, вызвал он эвакуированную в Ленинанкан семью — жену с двумя сыновьями и дочкой — и устроился на работу в ДОСААФ, начальником школы.

Кажется, такое вынужденно перечислительное жизнеописание Степана Климанова становится утомительным, однако нам надо еще добраться до 1966 года, когда Климанов приехал в подмосковный город Электросталь, где живет и работает сейчас, а до этого прошло еще целых двадцать лет. Разве втиснешь их в жесткие рамки короткого очерка? Тут скороговоркой не обойдешься. Следует сказать и о межобластной партшколе в Станиславе, которую Климанов окончил в 1954 году, и о тех временах, когда он командовал подразделением милиции в Черновцах, пока не уволился в запас, не дослужив каких-то несчастных трех месяцев до полной пенсии. И никак нельзя не упомянуть о том, что отец четверых детей, которые ходили в школу, заочно окончил педагогический институт.

Одним словом, покатала Степана Давыдовича Климанова жизнь, что называется, в свое удовольствие, прежде чем попал он в Электросталь.

Как-то раз сидели они с Любовью Спиридоновной, перебирали прошлое, и потянуло их на родину. В Попадьяне никого уже из своих не осталось, но у Степана Давыдовича был один друг, с которым они изредка переписывались, и последнее письмо пришло из Электростали, правда, без указания точного обратного адреса. На сборы они были — по военной привычке — легкие, и уже через день сели в поезд. Приехали в Электросталь, обратились в справочное бюро: говорят, нет такого гражданина. Сделали запрос во все городки и поселки, чьи названия начинались со слова «Электро», например, Электроугли. Но нигде не обнаружился друг. Собрались уезжать, но тут, уже идучи по улице к вокзалу, Степан Давыдович говорит жене: «Знаешь, Люба, а городок мне нравится. Может, останемся?» Ну, куда иголка — туда и нитка. Останемся так останемся. Переночевали на вокзале, а утром Степан Давыдович отправился в горком партии. Там посоветовали пойти воспитателем

в большое рабочее общежитие. И теперь лучше предоставить слово самому Степану Давыдовичу:

— Захожу, значит, в первую попавшуюся комнату и вижу кровь на платяном шкафу и на стенке рядом... В комнате четверо парней лет по восемнадцати, лежат, покуривают. Чего это, спрашиваю, у вас тут произошло? Да так, говорят, упал один, нос разбил. И нахально эдак ухмыляются. На столе пустые бутылки водочные. Все четверо под хмельком. Дыму — топор вешай, а я некурящий. В общем, веселенькая картина.

Ну, думаю,хватишь с такими лиха, хотя год на дворе не двадцатый, а шестьдесят шестой, и в доме этом живут нормальные рабочие ребята, а не макаренковские отпетые перекати-поле. Честно сказать, не возникло у меня охоты стать воспитателем, хотя сам своих четверых направил, надеюсь, неплохо. Но своих-то мы вместе с женой на ноги ставили, да и воспитывать человека надо, как говорится, пока он поперек кровати лежит. А тут такие готовые, что и вдоль кровати не умещают-ся, ноги в ботинках за прутья свешиваются.

Ну, заглянул в две-три другие комнаты. Там предыдущих драк, видно, не имелось, но все равно на душе у меня уютнее не стало. Уходил я из общежития в большом сомнении.

Любовь Спиридоновна меня в столовой ждала, где мы после вокзальной ночевки позавтракали. Иду, размышляю, а городок очень уж мне нравится. И вдруг заело меня: что ж ты, думаю, за полсотни лет вроде бы никогда в кустах не отсиживался, а тут заюлил, испугался чего-то. Да и в кармане-то у меня три педагогических диплома — корочка о корочку поскрипывают. Для чего ж ты, думаю, в педтехникуме учился, в партшколе, в институте?

Одним словом, решили мы с женой осесть в Электростали, и принял я общежитие номер двадцать два, сказав себе: взялся за гуж... и так далее.

Дали нам с Любовью Спиридоновной комнату, обосновались, и приступил я к работе.

Человек я военный, в армии привык к четкому порядку: там все ясно. А тут у меня одна теория и никакой практики. Да и теория больше подходит к учебному заведению, но для рабочего общежития, можно сказать, совсем не годится.

Начал я по военной выучке, что называется, с реестра: завел толстую тетрадь, разграфил ее и стал понемногу заносить туда сведения о своих подопечных — кто, откуда, где родители, выпивает или нет, к чему имеет склонность. Формалистика, конечно, но в моем случае ее понять можно. Да и вообще она оказалась полезной хотя бы потому, что занести даже самые

краткие сведения о трехстах молодых людях на бумагу — это уже значит в какой-то степени с ними познакомиться.

Сейчас, по прошествии девяти лет, я вижу, что во многих отношениях изобретал велосипед, и именно поэтому смею утверждать: человеку, который хочет посвятить себя воспитательной работе, нужно иметь специальную подготовку, нужно постоянно общаться с себе подобными, чтобы учиться друг у друга, и делать это как можно чаще. Как во всякой работе, в нашей тоже есть вещи, относящиеся, если можно так выразиться, к чистой технике — имею в виду организационные вопросы, простейшую методику, проведение разных мероприятий. Я, например, всегда с великим нетерпением жду областных семинаров, на которых воспитатели делятся опытом: обязательно что-нибудь полезное для себя услышишь.

Многому учит сама повседневная жизнь. Мне вот нужно было как-то извернуться, чтобы организовать фотолaborаторию. Ну, комнатку выделили, а на оборудование, увеличители и прочее, как говорится, гроши треба, а где их взять? С шапкой по кругу идти мне было непривычно, несолидно как-то, но все-таки пришлось. И тут я впервые по-настоящему понял значение глагола «выколачивать»: десяток порогов обил в разных организациях, прежде чем наскреб необходимую сумму. Чувствовал себя при собирании денег не очень хорошо, не в своей тарелке, но понимал, что такова уж особенность моей новой работы: хочешь быть хозяйственно полезным для своих подопечных — спрячь личную амбицию в карман. Понимал, но переживал с непривычки... Наверное, эти мои переживания характерны лишь для таких, как я. В смысле организационном молодые нам, старикам, сто очков вперед дадут, однако об этом разговор будет особый. Только бы не получилось, будто хвастаю и поучаю...

С первых дней я понял, что одному мне здесь делать нечего, надо собрать вокруг себя ребят посмышленее и посознательнее. Создали совет общежития, а в нем секторы — массово-политический, бытовой, по культуре, спортивный. Суховато звучит, а вот когда они своими руками соорудили спортивную площадку, посадили кусты и деревья, когда съездили на экскурсию в Москву, в Архангельское, в Горки Ленинские, когда дали бой распустившемуся пьянице Иванушкину, — все сами почувствовали, что сила коллективного разума и воли не пустые слова.

Работал я и понемногу учился, а учиться, известное дело, одинаково полезно и на положительных и на отрицательных примерах.

Было такое ералашное происшествие...

В женском общежитии нашего треста завелся обычай устраивать вечеринки в складчину — со сладким вином, с закуской и, конечно, с танцами... А завела его новая воспитательница, прибывшая откуда-то из южных курортных мест. По-видимому, она считала это главным мотором воспитания духа коллективизма. И вот однажды звонит мне и от имени девчат просит прислать к ним на очередную вечеринку несколько человек из наших парней — самых хороших, то есть чтобы и нехулиганистые, и собою недурны, и танцевать уметь. Взнос — пятерка.

Подобрал я ребят, нагладились они и пошли. Встретила их эта предприимчивая воспитательница, приняла пятерки и говорит: вы, мальчики, немного опоздали, все уже за столом сидят, так что обождите тут, а как танцы начнутся — милости просим. Ну, ребята ей: отдавайте деньги назад, не за танцы же по пяти рублей собираете. А она не отдает, раскричалась до истерики, вызвала дружинников, а дружинники явились без повязок...

Дело кончилось тем, что одного из моих подопечных, тихого и спокойного парня, за сопротивление дружинникам забрали в милицию, составили протокол и завели судебное дело. А ему через месяц в армию призываться.

Обидно мне было за него, и не мог я не вступить. Следователь и прокурор отнеслись к моему ходатайству по-человечески, с пониманием. Разобрались в деле и поступили по справедливости — сняли с парня обвинение, он уехал служить в армию, а мог бы отбывать срок, и все из-за той бойкой так называемой воспитательницы, которая, между прочим, вскоре упорхнула куда-то. Не завидую тем, кого она «воспитывает» теперь...

Очень скоро я уяснил одну из главных истин, которую воспитатель постоянно должен носить, если хотите, в своем сердце: общежитие и для воспитателя и для молодого жильца не зал для транзитных пассажиров и не гостиница для командированных. Вообще-то считается, что строители — птицы перелетные: сегодня здесь, завтра там. У нас живут как раз строители — штукатуры, каменщики, бульдозеристы, маляры. Большинство не старше двадцати, много ребят, только что вышедших из производственно-технических училищ. Иной транзитный пассажир и на пол плюнуть не считает большим грехом, хотя дома у себя, наверное, этого не делает. Вот я и задался целью покончить в нашем общежитии с перелетными настроениями, чтобы каждый считал его родным домом.

Может, и не все удавалось, как задумывалось, но приятно узнавать, скажем, о том, что кто-то из ребят, кого мы когда-то всем миром провожали на службу в армию, явился обратно

после службы, возмужавший, раздавшийся в плечах, и обязательно хочет опять поселиться под нашей крышей, как, например, Володя Скворцов.

Или вот еще проблема — первая получка. Ее порою так усердно «обмывают», что она бывает и последней — во всяком случае, по данному месту работы.

Мы однажды организовали вручение первой получки выпускникам ПТУ не в кассе, а прямо в общежитии. Приехало начальство, именинникам с подходящими случаю словами главбух выдал конверты с деньгами. И смею вас заверить: мальчишки этот день запомнят на всю жизнь и к заработанной копейке будут относиться как надо.

Приглядываясь к своим подопечным, я обратил внимание, что кое-кто из ребят, явно способных, с чьей-то нелегкой руки усвоил принцип: зачем мне дальше учиться, если я и так сто пятьдесят или двести имею и горба особенно не ломаю? Вспомнил я тогда своего первого учителя — Ивана Константиновича Теологова, как он заставил меня написать заявление и отправил в Михайловский педагогический техникум. Но тут, думаю, другая тактика нужна. Договорился с завучем вечерней школы молодежи Тамарой Павловной, собрал своих жильцов в красном уголке, и она им ненавязчиво, но убедительно растолковала, почему, так сказать, ученье — свет, а неученье — тьма. После того вечера многие задумались насчет дальнейшего образования, и любителей до остервенения «забивать козла» поубавилось.

Вообще-то я не против домино, игра как игра, но у нас и кроме «козла» есть развлечения. Про спортивную площадку и фотолaborаторию я уже говорил. Имеем мы и библиотеку, и телевизор, а для удобств быта — и душ и столовую. Каждый из моих подопечных может считать общежитие своим домом.

Но клоню я к тому, что самым главным в своей работе считаю совсем другое, и особенно хочется, чтобы меня услышали молодые воспитатели. Поясню конкретно...

В общежитиях, подобных нашему, обитает немало людей, не слишком-то обласканных судьбой, это понятно...

Вот прибывает к нам в погожее весеннее утро пополнение — ребяташки из ПТУ, и среди них выделяется один: всего шестнадцать лет, а ростом чуть не под два метра и косая сажень в плечах. Такому надо потреблять за сутки при рядовой физической работе не установленные наукой о питании пять тысяч калорий, а все десять...

Вскоре я заметил, что парнишка угрюм не по летам. Сидит вечером на кровати, уставясь в одну точку, никакие шутки товарищей его не задевают, и вообще словно бы ничего

вокруг не существует — только он наедине со своей неотвязной думой.

Первый раз заговорил я с ним — почему, дескать, так мрачно на белый свет глядишь? — он только отмахнулся своей пудовой ручищей. На другой день замечаю — свалились у Саши щеки, он как раз со смены пришел. И мелькнула у меня простейшая мысль: а может, думаю, он не жравши ходит? Отозвал его в сторонку и прямо так и спрашиваю: ты сегодня ел? Он на дыбы: а вам что? Вязко мы с ним разговаривали, но в конце концов рубль — займы — он у меня взял. А когда через часок зашел я к нему, уже поевшему, рассказал он мне свою коротенькую, но не сладкую жизнь.

Мать, родивши его, стала инвалидом и с самого того дня лежит в больнице. Отец умер.

Пришедши к нам, Саша не имел ни копейки денег. У других хоть откуда-нибудь, а помощь есть, у него же ниоткуда нету. Да к тому же, как я говорил, ему по его росту и сложению требуется продовольствия неординарно много. Так что до первой получки ему тех денег, что выдали в ПТУ, никак не хватало, и никто тут не виноват, кроме матушки природы да несчастных обстоятельств судьбы.

Размягчил Сашу мой рубль, хотя, конечно, не в деньгах суть. Немного позже узнал я, что у него день рождения надвигается. Потолковал со старшими, народ у нас отзывчивый — собрали ему и на жите до получки и подарок сделали. Оттаял он заметно, и думаю, с тех пор не одиноко у него на душе...

Второй случай, по видимости, был сложнее.

Жил у нас один парень, звали Володей. Был он из самых старших, и, наверное, именно поэтому я сначала не придавал значения его бросавшейся в глаза обособленности от других: мол, чего ему водить компанию с шумливыми мальчишками из ПТУ, давно он перерос их полудетские забавы. На работе он нем отзывались самым лучшим образом: не выпивал, не курил. Словом, никаких сигналов бедствия — сплошная зеленая улица.

Уехал он в свой очередной отпуск, куда — не говорил. Ну, из отпуска человеку положено возвращаться поздоровевшим и румяным, а тут вижу — вернулся, как из Освенцима. Но тревожиться не стал — может, думаю, несчастная любовь у человека, а в сердечные дела сапожищами не лезут. Начнет работать, втянется в привычный ритм — все пройдет...

Но не прошло. И оказалось, что не о несчастной любви речь.

Володя, я знал, очень любил смотреть хоккейные матчи. А в то время как раз проходило первенство мира. И вот вече-

ром — у меня дежурство с восемнадцати до двадцати трех — заглянул в красный уголок, вижу, все хоккейные болельщики перед телевизором, а Володи не видно.

И как будто подтолкнуло меня что — пошел его искать. В комнате — нет, в библиотеке — нет. Нашел на лестничной площадке верхнего этажа. Сидит на ступеньке сгорбившись, как старик, руки меж колен плетью висят — словом, полное отчаяние. Спрашиваю:

— Ты что это хоккей не смотришь?

— Не хочется, — отвечает.

— Не узнаю тебя.

Он посмотрел исподлобья и говорит с глубокой, прямо-таки невыносимой горечью:

— Вы-то что... Меня мать с отцом узнавать не хотят.

Вскинулся он, хотел вниз сбежать, но вид у него был такой, что не мог я его за руку не схватить.

— Поймай, поймай, — говорю, — непонятное городишь. Объясни.

Пристал я к нему, как банный лист, и рассказал он мне всю невеселую историю.

Родился он в сорок шестом году. Законный муж его матери тогда еще дослуживал службу в армии, вот-вот должен был демобилизоваться. До этого он не был дома, а значит, не виделся с женой три года. Короче, прижила мама сына от прохожего молодца, побоялась мужнего гнева и отдала Володю в детский дом. Отдала и вычеркнула из своей малосимпатичной души. И притом, чтобы уж совсем замести следы, записала Володю на фамилию того прохожего молодца.

Государство Володю на ноги поставило. А когда он повзрослел, то, понятное дело, однажды возник у него жгучий для людей с такой биографией вопрос: а может, он не сирота, может, его в детстве потеряли? И начал искать родителей. Долго искал. И нашел.

Но мать взмолилась, чтобы он не показывался в их доме и ни в коем случае не открывался ее мужу: мол, развалится семья, развалится жизнь.

Володя ее пожалел. Поехал к отцу. Тот и вообще с ним разговаривать не захотел. Не знаю, говорит, я тебя и знать не желаю, много вас таких найдется — каждому отцом не будешь...

После Володя мне признавался, что если бы не выложил в тот вечер все, что наболело, могла бы случиться беда. Трудно человеку таить в себе такие вещи, трактор вон железный и то ломается. Подумывал он уже всерьез: а стоит ли жить?

Но ничего, переборол себя, перемогся — помогло вовремя сказанное слово.

Я себе этого в заслугу не ставлю, а говорю вот к чему.

Все мы знаем, что любой коллектив составляют личности, а каждая личность — особый характер, и, стало быть, в работе воспитателя главное то, что называется индивидуальным подходом. Знать-то знаем, да порою забываем. А забывать об этом нельзя.

Мне остается только добавить, что Степан Давыдович Климанов, наверное, не стал бы настоящим воспитателем, если бы за плечами у него не было трудно и честно прожитых лет, не было целой жизни...

РЕПОРТАЖ БЕЗ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Их разделяет время — всего восемьдесят лет, одна человеческая жизнь, — но объединяет местонахождение: город Рязань. Малозначительные сами по себе и каждый в отдельности, эти два листка обретают значительность исторических документов, когда лежат рядом друг с другом.

...Под конец марта 1890 года в присутственных местах и на стенах рязанских домов появились маленькие афиши, сообщавшие о том, что 3 апреля в зале благородного собрания состоится вечер литературного фонда в память Н. Д. Хвоцинской. Надежда Дмитриевна Хвоцинская была одной из первых в России женщин-писательниц, получивших широкое признание. Ее повести и романы высоко ставил Салтыков-Щедрин, она печаталась в «Отечественных записках». В Санкт-Петербурге вышло собрание ее сочинений. Правда, по обычаю того времени, зная, что женские писания читающая публика всерьез не принимает, Надежда Дмитриевна подписывала свои произведения мужским именем: ее псевдоним — В. Крестовский.

Она родилась в Рязанской губернии, и, естественно, земляки из просвещенных боготворили ее. Упомянутый вечер состоялся через год после смерти Надежды Дмитриевны. Надо полагать, были сказаны приличествующие случаю слова, добром помянута светлая душа, защитница страдающих и страждущих. И все-таки земляки невольно оскорбили память писательницы. На афише выделялись строки, набранные одинаковым шрифтом. Первая: «В память Н. Д. Хвоцинской». Вторая, неизвестно по какому поводу: «Рояль фабрики Шредера». И обе фамилии напечатаны одинаково жирно.

Афишку можно считать беспристрастной, предельно объективной печатной характеристикой дореволюционного рязанского бытия. Эпоха вместе с этим документом, ее характеризующим, как говорится, давно сдана в музей.

Чтобы сказать о другом листке, понадобятся слова сухие и невыразительные. Его составила, напечатала и выдала большая электронно-вычислительная машина семейства «Минск», работающая в информационно-вычислительном центре Рязанского завода счетно-аналитических машин. Это сводка, показывающая, как заводские цеха — а их без малого три десятка — выполняют дневной план. Я видел ее на столе у директора завода Юрия Петровича Земцова.

Спору нет — невкусно это, не прожужеешь. То ли дело — поговорить о светлых лесах под Рязанью или о рдяной ягоде рябины, о грибах и грибниках, обо всех оттенках желтого и красного на лесных опушках, о вальдшнепиной тяге в прозрачных холодных сумерках. Еще лучше самому постоять на тяге.

А тут что? Станки, конвейер, прессы, штампы. Строг и металлически тяжел профессиональный заводской язык, да куда деваться? Не хлебом единым жив человек. Это верно, но все-таки жив он хлебом.

Завод счетно-аналитических машин в просторечии называют коротко: САМ. «Где работаешь?» «На САМе». «САМ» — написано на маршрутных табличках рязанских автобусов и троллейбусов. Эти броские буквы каждый день видят миллионы граждан Советского Союза. Видят, но, вероятно, не замечают: примелькалось. Буквы «САМ» стоят на кассовых аппаратах во всех магазинах, универсамах, столовых и ресторанах нашей страны.

Марка эта удобна также и для составления незатейливых каламбуров. Словечко «сам» просто само напрашивается на обыгрывание, тут всякому доступно проявить остроумие. Кстати, один из не очень остроумных каламбуров заключает в себе такой глубокий смысл, так четко и исчерпывающе выражает особенности заводской производственной структуры и экономики, что о нем стоит поговорить отдельно. Но об этом несколько позже. Сначала познакомимся с заводом и его директором.

Есть испытанные временем литературные приемы, с помощью которых можно легче всего — но не лучше — обрисовать личность и деятельность определенного человека. Например, если необходимо подчеркнуть скромность, достаточно сказать, что человек охотно рассказывает о своих сослуживцах, а о себе говорить не хочет. Если нужно показать его чрезмерную занятость на работе, следует как бы невзначай вздохнуть о том,

что он уже месяц не разговаривал со своими детьми: когда приходит с работы, они уже спят, когда уходит на работу, они еще не вставали.

Приемы избитые и малопочтенные. Но что поделаешь, когда решительно все, с кем довелось встречаться, неизменно говорили: «Не любит он этого», — имея в виду, что Юрий Петрович Земцов не захочет, чтобы о нем писали. И что поделаешь, если на работе у него с восьми часов утра до шести-семи часов вечера нет ни минуты свободного времени для посторонних разговоров и если еще учесть нередкие вызовы в Москву, в министерство, депутатские дела, партийные дела?

Биография Земцова укладывается в несколько строк. Окончив в 1949 году факультет точной механики Пензенского политехнического института (тогда он назывался индустриальным), Земцов приехал в Рязань и поступил на САМ мастером. В 1957 году, когда он был уже начальником отдела технического контроля, ему предложили занять должность главного инженера на другом рязанском заводе. В 1962 году его назначили директором этого завода. А в октябре 1968 года он стал директором САМа. И не по случайному стечению обстоятельств, конечно. Завод тогда был в прорыве, прежний руководитель с делом не справлялся, и, когда встал вопрос о смене директора, мнения сошлись на Земцове: он ведь раньше восемь лет проработал на САМе, производственный процесс знает досконально, а на директорском посту доказал, что руководить умеет.

Дома у Юрия Петровича по поводу его нового назначения шутили, что снова произошло воссоединение четы Земцовых по производственному принципу. Дело в том, что Лидия Эриховна, жена Земцова, окончила тот же Пензенский индустриальный, они поженились, еще будучи студентами, вместе приехали в Рязань и вместе поступили на САМ. Потом Юрий Петрович перешел на другой завод, а Лидия Эриховна никуда с САМа не уходила и уже двадцать пятый год работает здесь — сейчас она ведущий инженер конструкторского бюро.

Земцов отлично представлял себе все трудности, ждавшие его на новом месте, но отказываться не привык. Он по натуре из тех, кто при неудаче не ищет объективных оправдывающих причин, а предпочитает найти собственную субъективную ошибку, с тем чтобы не повторять ее в будущем.

Чтобы не говорить лишних слов, достаточно привести несколько характерных цифр, убедительно показывающих, чего достиг САМ при Земцове. Например, себестоимость билетнопечатальной машины в 1966 году составила 2478 рублей, а в 1972 году — 519 рублей. За тот же период поощрительные фонды выросли с 896 тысяч рублей до 3 миллионов 618 тысяч,

а общая прибыль завода — с 2 миллионов 538 тысяч до 8 миллионов 282 тысяч рублей.

Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, в чьем подчинении находится САМ, перешло на новую систему планирования и экономического стимулирования, его предприятия работают на хозрасчете. Многоступенчатость системы, как известно, не способствует эффективности управления, и министерство, ликвидировав главки, создало всесоюзные промышленные объединения. Это сразу сделало всю систему более гибкой, позволило широко применять принципы кооперирования.

Однако рязанский завод САМ гораздо меньше других родственных предприятий может пользоваться всеми выгодами этих благотворных перемен. Дело в том, что почти вся его продукция уникальна. САМ получает от поставщиков различные материалы — стали, пластмассы, сплавы — в различных видах — лист, ленту, прут и т. д. Обработывающие цеха металл греют, охлаждают, режут, точат, штампуют, фрезеруют. Сборочные соединяют тысячи полученных деталей, иные из которых измеряются микронами и миллиграммами, и в результате получается целый спектр счетных машин — кассовые, фактурные, суммирующие, электронные фактурно-бухгалтерские... Да к этому надо прибавить интегратор 2-ИГЛ-1-6-2, который выпускает только САМ (разработанный доктором технических наук В. С. Лукьяновым, этот прибор сделал расчеты для плотин Куйбышевской и Асуанской ГЭС), да шрифты для пишущих машинок, да товары народного потребления...

Что там говорить, когда одних только штампов и приспособлений, сконструированных и сделанных на САМе, 28 тысяч штук.

Не нужно быть экономически образованным человеком, чтобы понять, какой тяжелой гирей висит эта уникальность на себестоимости заводской продукции. На каждом кассовом аппарате САМ получает прибыли всего каких-нибудь десять рублей, а общая-то прибыль, несмотря ни на что, исчисляется миллионами и продолжает расти. И добиться этого можно было лишь одним путем — повышением производительности труда. А если уж разматывать всю длинную цепочку причин и следствий, то надо будет сказать о проводимой заводом реконструкции старых заводских зданий и о появившихся в цехах аквариумах, о жилых новостройках и о пансионате в селе Семкине, о школах коммунистического труда и о подлинной гласности во всем — касается ли это чего-то успеха или провала; надо сказать о ведущей роли партийной организации за-

вода, в которой состоят 930 коммунистов; о наставниках, воспитывающих молодых рабочих, и о многотиражке «Машиностроитель», трехтысячный тираж которой весь расходуется по подписке.

Между прочим, редактор Валентина Георгиевна Гильденскильд упомянула, что очень популярную среди рабочих колонку в газете под рубрикой «Заводская неделя» посоветовал завести Юрий Петрович.

Каждодневная жизнь завода — это, выражаясь языком военных оперативный уровень. Но есть еще и стратегический. И в нем — основа деятельности директора. От решений именно на этом уровне зависят все без исключения оперативные причины и следствия.

Тут время послушать Юрия Петровича Земцова:

— Для нынешнего руководителя любого крупного предприятия вопрос стоит совершенно ясно: он должен понимать, что новые методы хозяйствования не чей-то каприз, не преходящая мода, а объективная потребность. Можно сформулировать и так: для него хозрасчет, хорошо рассчитанный заводской план и автоматизированная система управления должны стать осознанной необходимостью.

Любое неправильное решение на высшем заводском уровне в конечном итоге может породить неразбериху и хаос. Тут, как в горах — с вершины падает маленький камушек, а к подножию уже скатывается целая лавина.

Электронно-вычислительная техника придумана как раз для того, чтобы избавить нас от ошибок.

Когда мы ввели в действие большую электронно-вычислительную машину «Минск» стиль работы стал строгим. Машина беспристрастна и не терпит приблизительности. Ей нельзя втереть очки. Если среди заложенных в нее многочисленных данных, фиксирующих результаты работы всех взаимосвязанных звеньев производства окажется липовая цифра, машина обнаружит и отметит неувязку.

Каждодневные машинные планирование и учет позволяют видеть правдивую картину работы завода, а значит, вовремя принимать необходимые меры. Однако контроль и учет — это лишь малая часть преимуществ, которые дал нам «Минск».

Основа всякого производства — план. Но если заводской план составлен на базе искаженных исходных данных, он не более чем фикция, а с государственной точки зрения такой план надо рассматривать как фактор, подрывающий саму идею планирования.

Исходные материалы, вычисленные и выданные машиной, исключают человеческий произвол. И только на их основе мы можем создавать правильно рассчитанный, оптимальный план. Лишним было бы доказывать, какое большое значение имеет автоматизированная система управления производством для всей нашей промышленности, для всей экономики.

Мы у себя сейчас заняты монтажом второй машины «Минск», скоро она начнет действовать. В своей электронной памяти она будет держать оптимальный заводской план, рассчитанный ею же в паре с другим «Минском», и ежедневно сравнивать результаты работы цехов с заданиями плана. Более того, мы заложим в машину такую программу, что она, машина, сумеет заранее предупреждать о назревающей нехватке любой из двадцати тысяч деталей, потребных для сборки выпускаемых нами машин.

Словом, техника — великая вещь, но мы с вами не сделаем открытия, если скажем, что сами по себе ЭВМ, пусть даже наиболее совершенные, не могут заменить творческого, созидательного труда наших людей.

Принцип материального стимулирования — могучий рычаг для повышения производительности труда, это бесспорно. Но при соблюдении определенных условий, например, чтобы не допускалось уравниловки.

Вот, скажем, у нас делают шрифты для пишущих машинок. Что легче отгравировать — пуансон¹ для буквы «щ» или для восклицательного знака? Наивный вопрос. А между тем случается же в жизни, что за букву и за восклицательный знак поощряют одинаково. Я, конечно, говорю не о конкретном случае, а в фигуральном смысле... Материальное стимулирование должно носить характер воспитательный, а не быть просто денежным вознаграждением за добросовестный труд — только тогда оно даст наивысший результат.

«Хорошее, справедливое отношение к работнику, — сказал Леонид Ильич Брежнев, — это, пожалуй, лучший стимул в работе. Но нельзя забывать и о требовательности».

Не знаю, как других директоров, а меня больше всего заставляет задумываться именно воспитание настоящих кадровых рабочих. А ключевым вопросом в этом деле я считаю дисциплину. Нет, не ту дисциплину, которая имеет в виду своевременный приход на рабочее место — без нее вообще никакое производство просто не могло бы существовать. Пришел вовремя — это не подвиг, даже не свидетельство дисциплинированности.

¹ Часть штампа.

Ведь как бывает иногда в нашем многотысячном коллективе?

Вот случай со слесарем цеха № 1 Николаем Ивановичем Алешиным. Попивал он, но ему прощали, потому что у него всегда наготове было оправдание: в чем дело, я же пришел в положенный час. Того, что человек с похмелья — плохой работник, в расчет не брали. И в один злополучный день он так же вот точно в урочное время, без опоздания явился на работу, а спустя час его нашли в раздевалке с бутылкой в руке.

Как прикажете относиться к такому, с позволения сказать, работнику, к такому пониманию дисциплины? Судили его товарищеским судом.

Хочется мне сказать еще вот о чем.

Мы часто склонны в разболтанности некоторых молодых людей винить и школу, и родителей, и улицу, а когда они становятся рабочими — комсомольскую организацию, профсоюз, милицию, в общем, кого угодно, только не самого разгильдяя. Но ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот есть у нас, например, Анатолий Медведев — слесарь цеха № 1 и есть ученик токаря цеха № 2 Александр Сажин. Медведев недавно заслужил звание лучшего молодого рабочего своей профессии, а Сажин уже в четвертый раз нарушил в городе общественный порядок. Значит, что же — Сажин воспитывался в детстве и юности и трудится сейчас в каком-то другом обществе, не в том, где рос и теперь работает Медведев? Значит, Сажин портит жизнь себе и другим только потому, что общество недостаточно внимания уделяло ему? Рассуждать так — значит снимать с самого члена общества всякую ответственность. Чего не хватает такому Сажину?

В идеале необходимо стремиться, чтобы каждого можно было причислить к той высокой категории, которую мы называем кадровым костяком заводского коллектива, к которой по праву принадлежат такие наши товарищи, как Герой Социалистического Труда слесарь-инструментальщик Л. К. Богдановский, делегат XXIV съезда КПСС токарь Валентина Антошина, литейщик Николай Яковлевич Фетисов, десятки и сотни рабочих и работниц, чьим трудом завод поддерживает свою трудовую честь.

Короче говоря, под дисциплиной я понимаю сознательное отношение человека к себе и к обществу. Когда человек работает с таким настроением и с таким сознанием, что вроде вот оставь он на десять минут свой станок, или пресс, или штамп — и все замрет, весь завод станет. Сознать себя неза-

менимой живой клеткой огромного живого организма — вот как я понимаю дисциплину в ее высшем выражении. Такая дисциплина предполагает самоотверженную отдачу своему делу. Так учит нас партия.

В это понятие надо включить еще одно непереносимое слагаемое. Поясню примером.

Прошлым годом один наш работник, О. Снегирев, был в Киеве, зашел как-то в магазин и увидел картину: у кассы стоит длиннейшая очередь, люди нервничают, поругивают кассиршу, молодую девчонку, дескать, посадили растяпу. А она чуть не плачет. В чем дело? Подошел Снегирев ближе, видит — кассирша не работает, а буквально ведет с аппаратом кулачный бой. Чтобы получить чек, ей приходится бить по клавише со всей силы кулаком. Ну, он не утерпел, вмешался — машина-то в кассе наша стоит, марка «САМ» на ней. Объяснил заведующему, что так, дескать, и так, этот кассовый аппарат сделан на моем родном заводе, давайте я вас научу, как с ним обращаться. Сел, поманипулировал клавишами, нажал на рычаг — никакого впечатления. Он думал, в неумелом обращении молоденькой кассирши дело, а оказалось — в нашем браке. Пришлось ему разобрать аппарат, полтора часа возился, пока не нашел этот брак. Шестеренка была виновата. Он ее на один зуб переставил — заработала касса. Директор ему «спасибо» сказал, а он от этого «спасибо» бежал красный, как рак. Стыдно было за свой завод.

Вот когда каждый из многотысячного заводского коллектива станет так болеть за честь своей марки — это и будет Дисциплина с большой буквы. А значит, можно говорить и о настоящем, сознательном отношении к труду, короче — о коммунистическом труде.

В кабинет заглянула Лидия Павловна, секретарь Земцова. — Юрий Петрович, итоги...

— Пусть заходят, — сказал он низким, прокуренным голосом.

«Итоги» — это ежедневное короткое совещание. Начальники отделов и служб заводоуправления вместе с директором подводят баланс прошедшим суткам — какой цех как работал, кому что мешало, у кого какие претензии. И тут же принимают меры по устранению ошибок и недоделок.

К этому часу на столе у Юрия Петровича уже лежит выданная электронной машиной сводка. Все в сборе, садятся кто за длинный стол, стоящий впрытик к директорскому (традиционная буква Т), кто на стулья у окна, кто — у противоположной стены.

...Проходит несколько минут — и кабинет пустеет. Секретарь парткома Дрючин тоже идет к двери, но Земцов его останавливает:

— Валентин Петрович, задержись. Как там наши?

Он имеет в виду рабочих завода, которые уехали поработать в колхоз. В первый день, как они явились в деревню, хозяева встретили их не очень-то гостеприимно, о ночлеге не побеспокоились. Ну и, само собой, приезжие зароптали. Секретарь парткома ездил туда разбираться.

— Ничего, наладилось, — мягко, спокойно отвечает Валентин Петрович.

— Ну и хорошо...

Прощаясь со мной, Земцов в первый раз за все время пошутил. Оказалось, у него та приятная манера шутить, когда в однозначных, недвусмысленных словах содержится иносказание.

— У вас в редакции, конечно, есть пишущие машинки? — спросил он, пожав мне руку.

— Ну как же...

— Шрифты, наверное, наши стоят?

— Может быть...

— На правах производителя шрифтов могу я попросить об одном одолжении?

— Будем рады...

— Попросите машинистку, пусть она, когда вашу статью печатать будет, на восклицательный знак пореже нажимает. А лучше совсем без него. Мы в пути...

Земцов и в шутке остался верен своей деловой натуре.

Вся суть, все содержание его жизни, все огорчения и радости — в заводе. Для так называемого досуга времени остается очень мало. Надо ведь, кроме всего прочего, следить за новинками в технической литературе. Что касается вальдшнепиной тяги, то у Юрия Петровича и ружье есть, отличного боя. А когда последний раз охотился? Можно подсчитать без электронной машины. Сейчас ему сорок семь. Директором он уже двенадцатый год. Значит, ходил на охоту, когда было тридцать пять...

А при чем тут маленькая афиша, сообщавшая о вечере в память рязанской писательницы? В общем-то, скажут, можно было бы обойтись и без нее. Но для чего же тогда в наших городских музеях хранятся сохи и прялки — приметы совсем не такого уж далекого прошлого? Наверное, не зря. Чтобы иметь правильное представление о пройденном пути, идущему необходимо время от времени оглядываться назад. На такие,

например, вежи: в девяностых годах прошлого века, когда был дан вечер в память Хвощинской, в Рязани самыми крупными «предприятиями» были три свечных завода и один винокуренный, а рабочих во всем городе насчитывалось равным счетом 532 человека — сейчас столько работает в одном цехе не само-го большого из многочисленных рязанских заводов.

Просьбу же Земцова мы исполнили: ни одного восклицательного знака в этом репортаже нет...

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Раньше я тоже знал, что собака — лучший друг человека. Но до поры до времени мне как-то не приходилось на практике убеждаться в этом. Своей собаки я не держал и вообще ни с какими четвероногими друзьями не общался, разве только в зоопарке, а там, как известно, все они сидят в клетках. Случай, о котором я хочу рассказать, заставил меня полюбить собаку настоящей любовью, бескорыстной и глубокой.

Конечно, дело было на даче. Я приехал с последней электричкой и был не совсем трезв. Потому что нормальный человек, которого жена ждет к восьми часам вечера, да еще в надежде, что он не забудет привезти из города редиску, — такой человек на последней электричке не поедет.

Редиску я не забыл, и суть не в том. Положение было незавидное: два часа ночи...

Подхожу к своей калитке, останавливаюсь, привожу себя в порядок: проверяю, правильно ли застегнуты пуговицы, не утерян ли галстук, не запутались ли в волосах посторонние предметы — щепки, бумажки и так далее. И тут ко мне подошел Дик, соседский пес, порода — овчарка. Я удивился: чего это, думаю, он ночью шляется? Обычно его в такое время не выпускают: хозяева у него заботливые, заставляют спать. Дик меня узнал, дружелюбно обнюхал, два раза чихнул. Я, что-бы проверить, как звучит голос, говорю:

— Дик, ты почему не спишь, дружище?

Дик сел между мною и калиткой и молчит. С голосом у меня все хорошо.

Сделал я шаг — и тут произошло недоразумение: я наступил Дику на лапу. Он, естественно, схватил меня за ногу, чуть

пониже икры — каждый в таком случае стал бы кусаться, — и сразу куда-то убежал.

Мне было не больно, но я быстро сообразил, что укус может пойти на пользу. Не будут же в семье устраивать скандал искусанному человеку! Поэтому я закричал не своим голосом и кричал довольно долго.

Конечно, в нашей даче и на всех соседних ни одно окно не засветилось, никто не подал признаков жизни. Наверное, все подумали, что просто грабят человека, больше ничего. А я, прихрамывая, достиг крыльца, постучал в дверь и застонал.

— Кто тут? — спрашивает жена.

— Это я, Люда, меня чуть не загрызла собака.

— Значит, это ты орал тут благим матом?

— Да, это я.

— Так тебе и надо! — сказала жена, все еще не открывая двери. — Наконец-то ты получил по заслугам.

— Нопусти же меня, Люда!

— Хорошо, я тебя впущу, но в комнате ты спать не будешь. Ложись в коридоре...

Я был доволен. Оказав самому себе первую помощь — рана оказалась незначительной, — я лег в коридоре на раскладушке. Я радовался, как в детстве, что хитрость удалась и скандал не состоялся. Тем более что утром можно спать сколько угодно — благо воскресенье.

Проснулся я утром от какого-то непонятного беспокойства. Первое, что я увидел, были глаза моей жены. Она стояла надо мной и смотрела с таким выражением, словно сомневалась, жив я или умер. Я слегка застонал и приветливо сказал:

— Доброе утро...

Люда прижала руки к подбородку и прошептала:

— Он бешеный.

— Кто бешеный? — приподнимаясь на локтях, спросил я.

— Дик. Он сбежал сегодня ночью.

— Но откуда известно, что он бешеный?

— Нормальные собаки не убегают, — все так же, шепотом, сказала Люда.

Я мало был знаком с нравом и обычаями собак. Но начало беседы было мне выгодно: оно уводило от темы о моем вчерашнем состоянии. Поэтому я стал развивать поднятый женою вопрос. Я выдвинул предположение:

— Но, может быть, Дик взбесился уже после того, как укусил меня?

Люда задумалась, потом кротко согласилась:

— Да, он мог взбеситься и от этого. Ведь ты же был сильно пьян.

Я опять застонал и потянулся рукой к укушенной ноге.

Люда вся как-то преобразилась. В ее движениях и в голосе появилась решимость.

— Вставай! — приказала она. — Идем! Мы не должны терять ни минуты.

— Но куда, зачем?

— Ты смотрел фильм об этом ученом, о Пастере? Как там собаки кусают людей и что из этого получается. Немедленно вставай! Едем в город! Тебе надо сделать укол.

Короче говоря, когда доктор осмотрел рану и выслушал из уст моей жены всю историю — а жена говорила с пафосом, — он назначил мне курс лечения в сорок пять уколов.

Уже после первого я отлично понял, какая жизнь ждет меня. Игла была очень большая и толстая, как карандаш. Кроме того, во время лечения можно пить только молоко, кисель, компот и другие подобные вещи, которые я не люблю.

Дальнейшие мучения были так велики и продолжительны, что неприятно об этом и вспоминать.

Когда сделали сороковой укол, я получил на работе путевку в санаторий, в Ялту. Доктор, терзавший меня с самого первого укола, выдал бумажку с тем, чтобы в Ялте меня поставили на учет и проткнули оставшиеся пять раз.

В вагоне я рассеянно листал книги, а на остановках старался не читать вокзальные вывески «Буфет» и прочее. Но однажды я задумался: ну хорошо, а что будет, если я позволю себе одну рюмку? Ведь курс лечения почти закончен...

Утром того дня, когда я становился в Ялте на учет, я имел неосторожность подойти к доктору ближе, чем надо. Он подозрительно потянул носом и почти радостно воскликнул:

— Вы вчера выпивали!

— Нет, видите ли...

— Вижу, отлично вижу! Все ваше лечение пошло насмарку!

Этот доктор мне тоже не понравился. Он назначил повторный курс — шестьдесят уколов!

Что это такое — трудно рассказать в двух словах. Скажу только, что я совсем больше не пью. Отвык за время лечения. И хотя теперь я быстро перехожу на другую сторону улицы, если навстречу попадает даже самая маленькая шавочка, и мне неприятно видеть даже резиновых, плюшевых и прочих собачек, я твердо заявляю: собака — лучший друг человека.

А Дик, между прочим, нашелся. В конце лета прибежал. Жена объяснила, что он бегал куда-то далеко-далеко в поисках одной травки — лечил лапу, на которую я наступил. Оказывается, у собак есть такой метод лечения.

А позже я узнал, что Дик вообще никуда не бегал. Просто моя жена сговорила с хозяйкой этой милой собаки, и Дика увезли на лето в другое место.

ЕГОР ПЕТРОВИЧ ЛЮБИТ ПОРЯДОК

Что такое посыльный? Вы, наверное, скажете: ну, это всякий знает. Посыльный — это человек, которого посылают туда или сюда, подальше или поближе. Подобное определение будет вроде бы правильно, но не совсем. Чтобы полнее осветить роль посыльных, надо рассказать об одном случае, который произошел в колхозе «Луч». Вот послушайте.

Каждое уважающее себя коллективное хозяйство, конечно же, имеет своего посыльного. По тому, какие средства передвижения имеются в распоряжении посыльного, можно довольно точно определить материальное состояние хозяйства. Если, скажем, посыльный мчится с депешей в дальнюю бригаду на мотоцикле марки «Иж», значит, будьте уверены: это колхоз богатейший. Мотоцикл поменьше — марки «Москвич» — говорит о колхозе просто богатом. Крепкие колхозы средней руки оснащают своих посыльных дорожными велосипедами с ручным тормозом, звонком, нарульной фарой и багажником. Колхозы победнее — рядовым дамским велосипедом.

У посыльного артели «Луч» имеется велосипед с фарой, и этим он не отличается от других своих собратьев. Но в остальном он совершенно особенная личность.

Вот, например, взять хотя бы сон. Сколько может проспать в сутки человек средних способностей? Ну, десять, ну, от силы двенадцать часов. А Сенька-Академик, по точным подсчетам, мог проспать в сутки двадцать два часа. Он мог спать сидя, вверх ногами, стоя на одной ноге и, конечно, лежа. Он мог спать везде: на лавке, под лавкой, на крыше, на заборе, на дереве, под деревом, на кровати и, конечно, в копне. За этот исключительный дар ему и присвоили почетное прозвище «Академик». И тут надо отметить, что Академику всего лишь семнадцать лет, так что у этого молодого умельца еще все впереди и он вполне может достигнуть новых, еще более высоких показателей.

В общем, теперь, когда вам ясно, с кем вы имеете дело, можно приступить к рассказу.

Все это произошло в тот день, когда в колхозе «Луч» заседала выездная сессия сельскохозяйственного научно-исследовательского института. Из областного центра приехали ученые, со всей округи съехались агрономы, председатели колхозов, бригадиры. Собрались в колхозном Доме культуры, новом, только-только поставленном.

Председатель колхоза Егор Петрович организовал все очень хорошо. Он и вообще всегда любил порядок, чтобы, как говорится, все было чин по чину, а тут ради такого выдающегося события — не в каждом колхозе подобные заседания собирают! — он уж постарался, как никогда.

На сцене стоял большой дубовый стол, покрытый зеленой бархатной скатертью. В глубине сцены на маленьком столике матово поблескивал овальный, как иллюминатор на пароходе, экран громадного телевизора, тоже нового, только-только привезенного, еще и картонную коробку, в которую он был упакован, не успели выбросить, — она стояла за кулисами. Сбоку у большого стола возвышалась кафедра, тоже новая, специально к этому дню сделанная: от нее смолисто пахло хвойным лесом, она еще не успела засохнуть на заседаниях.

На каждое кресло в партере был положен блокнот и мастерски отточенный карандаш. Между прочим, карандаши двое суток подряд чинил колхозный счетовод. Он набил себе на руках большие мозоли, и председатель велел начислить ему дополнительно три трудодня.

Одним словом, Егор Петрович знал толк в организации всяческих заседаний.

Когда все собрались и уселись по местам, председательствующий огласил повестку дня, и сессия началась.

И вот тут-то и произошло маленькое событие, о котором стоит рассказать.

Из правления прибежал счетовод и, найдя Егора Петровича, сидевшего в первом ряду, сообщил ему, что сейчас звонил председатель колхоза, расположенного за рекой. Он немного задержался, а теперь торопится на заседание и просит выслать за ним на тот берег лодку, ибо иного способа попасть на этот берег нет.

Колхоз «Луч» держит перевоз, которым пользуются за известную небольшую плату все, кому приходит охота мотаться с берега на берег. У маленькой пристани шевелятся на волне две добротные лодки: одна — плоскодонка, другая — килевая. Возле самой воды стоит домик о двух окнах, и живет в нем начальник перевоза дед Сергей. Он туг на ухо, и не всякому

удаётся докричаться с того берега, чтобы он подал лодку. И махание руками тоже не поможет, так как дед Сергей — великий любитель чтения, и взор его постоянно упёрт в книгу.

Счетовод, когда передавал свое сообщение Егору Петровичу, добавил от себя, что тот председатель разговаривал охрипшим голосом, видать, простудился. Значит, ему уж никак не установить контакта с дедом Сергеем.

Оценив положение, Егор Петрович шепотом распорядился:

— Найди посыльного, пусть срочно слетает на перевоз.

— Есть! — шепотом же отвечивал счетовод и убежал искать Академика. Скоро он вернулся и доложил:

— Академика поблизости нет, не мог его найти.

Подумав немного, Егор Петрович сказал нетерпеливо:

— Пошли кого-нибудь на розыски. Узнай, где он может сейчас спать, и пошли кого побыстрей.

Счетовод выдвинул ответный план действий:

— Да я сам до перевоза мигом!..

До перевоза действительно можно было добежать одним мигом: ведь от правления до домика деда Сергея триста метров, заметьте — всего триста метров. Но все-таки это предложение счетовода было ошибочным, ибо счетовод на секунду забыл, до какой степени Егор Петрович любит порядок.

— Вот что, товарищ Пронькин, — сказал Егор Петрович, — ты мне тут анархию не разводи. Сказано: есть посыльный для таких операций, и пусть каждый исполняет, что ему положено по должности.

Счетовод, поняв свою ошибку, повернулся кругом через правое плечо и отправился выполнять поручение.

Придя в правление, счетовод Пронькин совместно с бухгалтером составил план поисков Академика. Так как день был жаркий, то они вполне резонно рассудили, что в первую очередь Академика надо искать в прохладных местах, как-то: а) в березовой роще, которая находится в полутора километрах от деревни; б) в овраге, что в километре за скотным двором; в) в колхозном парке, разбитом на берегу реки в восьмистах метрах от деревни; г) под опрокинутым старым тарантасом, который брошен кем-то за негодностью в двух километрах от деревни на большаке; д) в лугах, где держалось заскирдованное сено, в трех километрах отсюда, и, наконец, е) за рекой, в сосновом бору, принадлежащем как раз тому колхозу, председатель которого торопился сейчас на заседание.

Наметив эти шесть пунктов и разделив их между собой, счетовод и бухгалтер пошли в гараж, первый сел в председательскую «Победу», а второй — в пятитонный колхозный гру-

зовик (двухтонные все были в разъезде), и поиски начались. Бухгалтер должен был объехать пункты а, б и в, а счетовод — г, д, е.

Бухгалтер в трех своих пунктах никого не обнаружил и ни с чем вернулся в контору. Счетовод к тому времени успел побывать лишь в двух пунктах, так как очень долго пришлось вести розыски в лугах: скирд много, и каждая скирда такая громадная, что в ней человек может затеряться, как иголка в обыкновенном стогу. Облазив все скирды, Пронькин отправился в последний пункт, е, — за реку, в сосновый бор.

«Победа» подкатила к домику деда Сергея. Пронькин выскочил из нее, распахнул дверь домика и крикнул:

— Бросай читать, дед! Срочно лодку мне!

Дед Сергей дочитал абзац до конца, положил толстую книгу на стол и поднялся.

— Ай беда какая? Почто такая срочность? — спокойно спросил он.

— Беда не беда, а надо быстро, — объяснил Пронькин.

Пошли к лодкам. Дед Сергей отомкнул замок на цепи, который была причалена плоскодонка, вставил весла в уключины и спросил:

— Перевезти тебя, ай сам погребешь?

— Ладно, сам, — сказал Пронькин и прыгнул в лодку.

Греб он хорошо, плоскодонка подвигалась быстро. На середине реки, оглянувшись, Пронькин увидел, что на том берегу стоит и радостно машет руками председатель заречного колхоза. Через пять минут плоскодонка ткнулась носом в песочек у ног председателя. Поздоровавшись, Пронькин кинулся бежать к бору.

— Стой! — окликнул его председатель. — Куда ты?

— Я сейчас! — отозвался Пронькин и скрылся вдали.

Председатель, как тигр, заметался туда-сюда возле лодки. Наконец Пронькин вернулся сильно расстроенный.

— Ну поехали, что ли? — вне себя от нетерпения, охрипшим голосом спросил председатель.

Пронькин был злой оттого, что ему предстояло доложить Егору Петровичу о неудаче поисков, и он ответил раздраженно:

— Я вас не повезу.

Председатель удивился:

— Как так? Я же лодку просил за мной прислать, специально звонил.

— А так, — совсем обозлился Пронькин. — Во всем должен быть порядок. Пусть каждый исполняет, что ему положено по

должности. Я счетовод, а не перевозчик. Вот найдем посыльного, он отвезет приказ деду Сергею, а тогда уж за вами лодка и придет.

Сказав так, Пронькин прыгнул в плоскодонку и поплыл обратно.

Председатель остолбенел. Он не мог вымолвить ни слова и просто стоял с широко раскрытым ртом. Ничего подобного он раньше не слыхивал и не видывал.

Через десять минут удрученный Пронькин докладывал разгневанному Егору Петровичу о принятых мерах и о их результатах. Разговаривали они шепотом, но их жаркий диалог был прерван вдруг громким треском на сцене.

Егор Петрович пошел за кулисы и увидел там такую картину: у стены стояла коробка из-под телевизора, одна стенка у нее была прорвана, и из дыры торчала пара ног. Приподняв крышку, Егор Петрович узнал в спящем посыльного Академика. Видно, он уже выспался, решил потянуться и прорвал ногами картон.

Вот и вся история. Через несколько минут Академик исполнил свои прямые обязанности: деду Сергею был доставлен приказ, и опоздавший председатель, хотя и к самому концу, был на заседание.

НАШ ФИЛЯ

По паспорту он, конечно, не Филя, а Филимон Петрович, и ему уж лет под сорок, и детишек у него двое, а все равно мы зовем его Филя.

Мы на одном заводе работаем, я в сборочном, а он в инструментальном, но раньше я его плохо знал. Слышал, что есть такой Филя, а кто и что, не интересовался. А потом нам в одном доме квартиры дали, ему на седьмом этаже, мне на пятом, и тогда я быстро понял, почему про Филю на заводе всякие байки рассказывают.

Человек он компанейский и отзывчивый, это я сразу заметил.

Так сошлось, что кухонные гарнитуры мы с ним покупали в один день. И сговорились в магазине, что возьмем на двоих один фургон. Дружно погрузили, приезжаем домой — у подъезда целый автопарк собрался, все с мебелью. Но Филя быстренько осмотрелся и нашел щель между машинами, чтобы пробиться к самым дверям. Шофер наш начал сдавать задним ходом, а Филя командовал. Он пятился перед машиной и кричал:

— Лево, лево! Так! Давай!

Щель эта, оказывается, была оставлена другими шоферами неспроста. Оказывается, там яма имелась, заваленная стружкой, бумагой, щепками. Филя ее не заметил, и, в общем, наша машина ухнула в нее задними колесами по самый дифер. Двери в фургоне были открыты, и шкаф-колонка из моего гарнитура вывалился и раскололся на составные части.

Шофер, конечно, на Филю матерится, а Филя говорит:

— Это ничего.

А чего «ничего», когда машина засела и шкафчик развалился? Пришлось нам тогда похлопотать, но ладно, я на Филю был не в обиде, потому что он и сам сильно переживал.

В следующий раз получилось хуже.

Мы с женой купили финский холодильник «Розенлев». Дорогая вещь, а я, сказать по правде, в холодильной технике не разбираюсь. Филя видел, как мы привезли этого «Розенльва», и напросился помочь с включением. Я, говорит, все эти ящики досконально вдоль и поперек изучил.

Ну, подняли, распаковали, установили в кухне на почетном месте, Филя в инструкцию заглянул и круглый рычажок с белыми насечками начал крутить. Включился холодильник, Филя строго послушал, как он гудит, и еще дальше крутанул. Щелкнуло нехорошо. «Розенльва» передернуло, и он заглох. Я говорю Филе:

— Иди за мастером.

Он сходил, но сам уж к нам не вернулся. Мастер сказал, что мы инструкцию нарушили, выключили холодильник поворотом регулятора через отметку «макс», и «Розенлев» перегорел.

Тогда-то я и начал подозревать, что Филя только языком мастер на все руки, а на самом деле врет. А ближе к осени окончательно его раскусил.

В субботу послала меня жена купить арбуз. Продавали их прямо на улице. Подхожу. Вокруг проволочного сундука очередь стоит, а возле продавца — Филя, деловой такой, взъерошенный. Оказывается, он лично выбирает всем арбузы, он себя выдал за специалиста по бахчевым культурам. А на разрез, между прочим, продавец не торговал. Ну, люди поверили, и Филя каждому помогал выбирать.

Впереди меня Костя Фролов стоял, мой сосед по лестничной клетке. Он тоже Филе доверился. Но я решил сам выбрать.

А вечером встретились с Костей во время «козла», и Костя говорит:

— Ну и арбузик мне Филя подсуропил!

— Плохой?

— Белый и как трава.

И у всех, кому Филя выбирал, арбузы оказались плохие. А у меня арбуз был красный и сладкий.

Но это все ерунда по сравнению с кабаном. А было так.

Собрались мы вчетвером на охоту, добыли лицензию на отстрел одного дикого кабана. Филя узнал и начал проситься с нами. В охотничьем обществе он состоял, ружьишко у него имелось. Если бы голосовали, я бы был против, но Филя сумел уговорить остальных троих, и мы его взяли.

Ну, оно как бывает? Снарядили мы рюкзачки с закусью, сели в поезд днем в пятницу, сразу после смены, а вечером прибыли на кордон к егерю нашего охотхозяйства. Обо всем сговорились, егерь наметил каждому его номер, показал на местности и сказал, что загонщики будут только завтра в сумерки, так что у нас почти сутки впереди пустые. А флажки, между прочим, полные.

Соорудили мы на опушке леса костер, расчехлили ружья, а потом разложили закуску, сняли с поясов флажки. Славное дело!

Когда по два раза хлебнули, Филя мне тихонько говорит:

— Знаешь, как я по-свинячьи хрюкать могу... Даже кабан не отличит.

Я думаю, врет, как всегда, а сам говорю:

— Ну и хрюкни.

Он говорит:

— Не-е, так неинтересно. Ты им ничего не говори, а я сейчас потихоньку уйду и из леса хрюкну. Посмотрим, что получится.

Он все так и сделал.

Сидят мои дружки, блаженствуют. Тишь стояла великая, только костер потрескивал, и вдруг в пятнадцати шагах, за толстой березой, возня и хрюканье. Охотнички рты пооткрывали и глаза выкатили. А там опять хрюкнуло, и не успел я «мама» сказать — вскинулись мои дружки, схватили ружья и из шести стволов шарахнули в темноту. От березы белые брызги полетели.

— Это не кабан, это Филя! — закричал я, но, по правде сказать, и у самого рука к тулке тянулась: уж очень похоже Филя хрюкал.

А он, чудак, выходит из-за березы, сам бледный, но улыбается. У дружков зубы стучат и руки трясутся. Хотели его бить, но я отговорил. А Филя доволен:

— Вот как я вас обманул.

Ну и чудак! Обманул! Наоборот, первый, может, раз правду сказал, а что могло получиться? Я ему говорю:

— Ты уж лучше и дальше ври, а то ничего хорошего не выйдет. Видно, такая уж у тебя судьба.

Кабана мы на следующий день взяли. Голову, ноги и хвост разыграли жребием, и достались они Филе.

ЭКСПЕРИМЕНТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Иду я с работы по своей родной улице. Денек прекрасный. Голубое небо. Солнце. Голубой бензинный дух от автомобилей.

Подхожу к дому и вижу: у палатки, где принимают бумажную макулатуру в обмен на книжные талоны, стоит большая очередь. Сначала, не присмотревшись как следует, я подумал, что это обычная картина. Но тут меня окликнул кто-то из самого хвоста очереди:

— Иван Иванович, а ты что же не торопишься? Сегодня ведь последний день принимают!

Это мой товарищ по рыбалке, сосед Саня Воробьев. Смотрю, тут сплошь жилыцы с нашей улицы. Все стоят с какими-то свертками — у кого побольше, у кого поменьше.

— Ты что, — спрашиваю я иронически у Сани, — тоже хочешь «Королеву Марго»?

Он на меня как-то странно посмотрел и говорит:

— Здравствуйте, пожалуйста! Ты что, ничего не знаешь? — И, видя мое недоумение, поясняет: — Наш жэк решил сделать улицу образцовой. Вчера объявили прием человеческих пороков. Два дня принимают. В виде опыта. Кто от какого порока хочет освободиться, приносит и сдает.

Я тут же понял, что это дело стоящее. Между прочим, спрашиваю:

— Если не секрет, что же сдаешь ты?

Саня смутился немного, даже опустил глаза.

— Я хочу сдать застенчивость.

Это меня удивило.

— Ну, знаешь, ты, по-моему, не такой уж застенчивый. И к тому же разве застенчивость — порок?

Саня ответил так, что сразу было видно: он эту проблему заранее хорошо обдумал.

— Я без очереди даже сигареты не могу покупать. А другие — сам знаешь...

Заинтересовавшись не на шутку всем этим необычным мероприятием, я подошел вплотную к палатке. Слева от приемного окошка, заткнутого, как пробкой, головой сдающего, висел зеленый щит с объявлением в рамке, гласившим: «Прием человеческих недостатков и слабостей от населения. Открыто с 10 до

18 часов с перерывом на обед от 13 до 14 часов. Без упаковки не принимается».

Мужчина, который затыкал своей головой окошко, принял нормальную позу и сердито сказал:

— Черт знает что!

Приемщик громко откликнулся:

— Не чертыхайтесь, пожалуйста!

— Но я же хочу сдать близорукость!

— А я вам говорю: физические недостатки мы не принимаем, идите в поликлинику.

— Вы мне не указывайте, куда мне идти! — вспыхнул товарищ, страдающий близорукостью в буквальном смысле слова. — Вот из-за вас даром простоял.

Приемщик заметил:

— Почему даром? У каждого найдется какой-нибудь недостаток или слабость. Все люди. Сдайте что-нибудь еще.

— На что вы намекаете? — так и подскочил близорукий. — Мне нечего сдавать. Вы хам!

— Ну вот, — озорченно сказал приемщик, — я уже вижу три вещи, которые вам можно сдать.

— Что? Что вы видите?

— Например, излишнее самомнение, невежливость и раздражительность.

Близорукий не нашелся что сказать и, махнув в сердцах рукой, быстро зашагал прочь.

— Следующий! — пригласил приемщик.

Следующей была женщина средних лет, остроглазая, курносая. Она поставила перед окошком большую картонную коробку из-под консервов.

— Что у вас? — спросил приемщик.

— У меня любопытство, — звонким голоском сообщила женщина.

— Любопытство не порок, — решительно объявил приемщик. — Любопытство у нас в преискуранте недостатков и слабостей не значит. Не мешайте, пожалуйста. Следующий!

Небольшая, вся такая аккуратная и компактная старушка протянула к окошку металлическую коробочку из-под конфет, перевязанную голубой лентой.

— А у вас что, бабуся? — ласково поинтересовался приемщик.

— Я сквернословие принесла, сынок, — так же ласково ответствовала бабуся. — Так уж вот случилось, батенька, сквернословие.

Приемщик был искренне удивлен.

— Ваше сквернословие? Ваше собственное?

— Нет, сынок, избавь бог, что ты! — успокоила его старушка. — Это мужа моего, старика старого. Он не хотел отдавать, сердился, да мне добрые люди помогли с ним совладать, отторгли мы его порок силою, да вот во внучкину коробочку и заключили. Принимай, сделай милость. Пятьдесят три годочка с ним маюсь.

— А что за сквернословие, какого сорта?

— Сорт мне неведом, золотой мой. А только надобно это одать.

— Скажите, какие слова он говорит? — уточнил приемщик. — Неприличные?

— Да как считать... — Старушка затруднялась ответить точно.

Приемщик старался помочь.

— Ну, скажите: эти слова печатать можно?

Старушка подняла на него свои ясные очи.

— Да ведь печатать их мы не пробовали, сынок. Про это я сказать ничего не могу. Оно вроде по отдельности-то каждое слово ухо не режет, вроде как приличные, а вот все вместе — и не приведи господь!

— Все ясно!

Приемщик взял у старушки коробочку и дал ей взамен бумажку-квитанцию. Старушка обрадовалась.

— Вот спасибо, милый, дождалася! Значит, он теперь не будет?

— Не будет, бабуся, — заверил ее приемщик. — Следующий!..

Насмотревшись и наслушавшись, я уже соображал, как лучше использовать это замечательное мероприятие. Вот прекрасный случай освободить от пороков своих родных и знакомых. Правда, я успел заметить, что большинство почему-то сдавало мелкие пороки, крупных совсем не было. Но я отнес это на счет того, что в наше время крупный порок — вообще редкость, и успокоился. И тут же поспешил домой.

Жена, бросив на меня мимолетный взгляд и еще не дав мне раскрыть рта, сказала:

— Та-а-а... Опять что-нибудь придумал?

В голове у меня мелькнуло: «Первым долгом надо сдать ворчливость жены». Я не стал с нею спорить, сел к столу и сказал спокойно и серьезно:

— Хорошо, дорогая, сейчас не время пререкаться. Давай вместе возьмемся за дело. Это в наших общих интересах.

Я коротко объяснил ей суть дела и предложил тут же составить список недостатков, которыми страдают члены нашей семьи, то есть она сама, наш сын и я.

— Пиши себя первого, — решительно заявила она. — Пиши: неуважение к домашнему труду жены.

— А почему не начать с тебя?

Жена сделала жест отчаяния, сложив пальцы рук в замок, и воскликнула:

— Так я и знала! Ты неисправимый эгоист! Стараешься, чтобы прежде всего было хорошо тебе. Пиши свои недостатки! Пиши под номером первым эгоизм!

Соппротивление было бесполезно, пришлось начать с себя. Под диктовку жены я записал свои недостатки. Получилось 43 пункта.

Составив этот длинный реестр, я сказал:

— Теперь давай составим список на тебя.

Она заметно смягчилась за то время, пока диктовала мне мои недостатки, но все-таки дух противоречия не покинул ее.

— По-моему, лучше сначала заняться нашим сыном, — миролюбиво предложила она.

Я рассердился.

— Вот-вот! Так всегда у тебя бывает! Час назад упрекала меня в эгоизме, а сейчас сама запела ту же песню. Так и запишем в твой список под номером первым: эгоизм.

А дальше пошло, как по маслу, пункт за пунктом: неуважение к домашнему отдыху мужа (насмешки и прямой террор с ее стороны за то, что я копаюсь в радиоприемниках и моторах), невоспитанность (когда бываем в гостях, делает мне за столом громко, во всеулышание, такие замечания, как «Не налегай», «Я тебя домой не понесу» и прочее), расточительность (тратит деньги на всякие финтифлюшки вроде бус из поддельного жемчуга и прозрачных невидимых косынок, а также на журналы мод), неряшливость (погладив мне утром свежую рубашку, забывает вдеть в нее запонки).

Когда подвели черту, оказалось, что у жены, как ни странно, пороков насчитывается ровно столько, сколько у меня, — 43. Ни больше ни меньше.

Жена побледнела и сказала:

— Ну, знаешь ли, ты еще и демагог, оказывается. Вот уж не думала...

Это вывело меня из себя, я закричал:

— Ты неисправима! Я запишу тебе еще один порок, сорок четвертый!

И записал: «44. Типично женская мания присваивать себе право на последнее, решающее слово».

Часы показывали половину шестого, а нам надо было еще очистить сына. Я приказал жене:

— Иди приведи сюда этого оболтуса, он, наверное, играет в футбол. А потом займись упаковкой. Там без упаковки не принимают. Быстрее!

Она привела сына. Оглядев его от хохла на макушке до облысевших носков ботинок, я строго молвил:

— Ну, друг мой, говори, какие черты твоего характера нам надо искоренить?

Он только хитро сощурил свои бесовские глаза и пошевелил веснушками на носу.

— Хорошо,— решил я,— мы запишем самый главный твой недостаток — невероятную лень и упрямство. Пока и этого будет достаточно. Еще не знаю, найдется ли в доме подходящая тара под такую громоздкую вещь. Может быть, придется вызывать пятитонный самосвал. Одевайся, идем сдавать твою лень и упрямство.

Он спокойно так говорит:

— Ну что ж, валяйте.

...В общем, сдал я наши недостатки и получил талон на книгу Дюма «Двадцать лет спустя».

Вот уж неделю живем. Вроде бы ничего пока, а вроде бы и скучновато как-то.

СОДЕРЖАНИЕ

Доктор Ромашов	3
Дверь открыта всегда	11
Щербаковы Ижорские	22
Вначале была целая жизнь	29
Репортаж без восклицательных знаков	40
Юмористические рассказы:	
Метод лечения	49
Егор Петрович любит порядок	52
Наш Филя	56
Эксперимент местного значения	59

Олег Михайлович Шмелев
РЕПОРТАЖ БЕЗ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Редактор Г. М. Стефановская.

Технический редактор А. И. Евтушенко.

Сдано в набор 3/I 1978 г. А 01147. Подписано к печати 12/IV 1978 г.
 Формат 70×108^{1/32}. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 3,82.
 Тираж 100 000. Изд. № 1026. Зак. № 1616. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
 газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП,
 ул. «Правды», 24.